

Как эпидемии меняли повседневность



Глеб Зарубин

Глеб Зарубин

Как эпидемии меняли повседневность

<https://litres.ru/74536974>

SelfPub; 2026

Аннотация

Почему карантин длится сорок дней? Когда школа стала санитарным узлом? Как водяная колонка, медицинский паспорт, маска и экран меняли обычный день — и почему правило на бумаге никогда не равно его исполнению?

Глеб Зарубин проводит читателя от средневековых портов и чумного Лондона до ликвидации оспы, эпидемии СПИДа, SARS и COVID-19. В центре книги не история великих открытий, а повседневные действия: вход в дом, торговля на рынке, похороны, поездка, работа, учёба и сообщение о болезни. Даты и документы помогают отделить решение от поздней легенды, пользу меры — от её неравной цены, а временный запрет — от устойчивого наследия.

Книга для тех, кто хочет видеть в истории эпидемий связную картину без мифа о прямом пути от невежества к победе науки.

Содержание

От автора	4
Глава 1. До слова «карантин»	6
Глава 2. Сорок дней у гавани	20
Глава 3. Дом получает знак	32
Глава 4. Кто выносит умерших	45
Глава 5. Рынок во время мора	59
Глава 6. Лазарет становится воротами	75
Глава 7. Риск вариоляции	88
Глава 8. Опыт Дженнера	102
Конец ознакомительного фрагмента.	104

Глеб Зарубин

Как эпидемии меняли повседневность

От автора

Эта книга не рассказывает, будто каждая эпидемия одинаково «учила человечество». Чрезвычайные меры могли спасти, вредить, распределять риск неравномерно или сохраняться дольше заявленной причины. Одно распоряжение по-разному выглядело для врача, торговца, портового рабочего, школьника и семьи, запертой в доме.

В центре будут обычные правила: кому разрешали войти в город, кто сообщал о заболевшем, откуда брали воду, почему закрывали рынок, какой документ спрашивали у путешественника и когда временный запрет становился частью учреждения. Мы будем различать текст распоряжения и исполнение, официальный конец вспышки и память семьи, полезное наследие и удобную легенду.

Это историческая книга, а не медицинское руководство. Старые способы изоляции, прививания, лечения и надзора нельзя повторять как современные рекомендации. Для нынешнего здоровья нужны актуальные правила и профильный

специалист. Здесь задача иная: понять, как эпидемии меняли повседневность и какими документами это проверяется.

Глава 1. До слова «карантин»

Представим город, который ещё не умеет говорить ни об инфекции, ни об инкубационном периоде. У его жителей нет микроскопа, лаборатории и ведомства, ежедневно сводящего сведения о заболевших. Но люди замечают вещи, доступные глазу: болезнь входит в несколько домов подряд; ухаживающие заболевают чаще; после прибытия чужеземцев начинается мор; прикосновение к телу умершего меняет положение человека среди соседей. Из таких наблюдений не складывалась современная теория заражения. Они соединялись с религиозными обязанностями, представлениями о чистоте, страхом перед чужаками и привычкой властей управлять движением людей. Поэтому старое правило могло уменьшать контакт и одновременно преследовать совсем другую цель.

В этом и состоит первая трудность истории эпидемий. Когда мы читаем, что кого-то вывели за пределы поселения или велели ждать семь дней, хочется поставить рядом знакомую этикетку: «карантин». Этикетка удобна, но стирает различия. Карантин в строгом историческом смысле — не любое пребывание отдельно. Это организованная задержка людей, животных или вещей, которые могли соприкоснуться с опасной болезнью, хотя сами ещё не обязательно больны. Такая система требует срока, места, ответственных лиц, правил до-

пуска и хотя бы приблизительного представления о том, откуда исходит риск. В европейских портовых городах эти элементы соединились лишь в позднем Средневековье. До этого существовали разрозненные запреты, очищения, изгнания и бегство. Они важны не потому, что были «почти современной медициной», а потому, что меняли повседневность задолго до появления привычного слова.

Один из самых известных древних примеров находится в книге Левит. В её тринадцатой и четырнадцатой главах описан осмотр изменений кожи, волос, ткани и стен дома. Решение принимает священник; человека могут отделить на семь дней, затем осмотреть повторно, а при некоторых признаках объявить нечистым. В популярных пересказах это нередко называют изоляцией больных проказой. Такой перевод слишком решителен. Древнееврейское слово, стоящее в тексте, охватывало не одну болезнь в современном смысле. Описания касались разных поражений кожи, а также пятен на одежде и доме. Это уже показывает, что перед нами не клиническая инструкция дерматолога. Категории чистого и нечистого регулировали участие в общей жизни и богослужении.

Однако бытовое следствие было совершенно материальным. Осмотр откладывал возвращение человека к другим; повторный осмотр создавал срок ожидания; объявление нечистым могло означать жизнь вне стана. Семья теряла помощника, ремесло — работника, человек — право свобод-

но появляться среди соседей. Правило действовало на тело, время и пространство, хотя его смысл нельзя свести к борьбе с микробом. Если назвать это современным карантинном, мы приписываем составителям знания, которых у них не было. Если объявить норму только обрядом и перестать замечать разобщение людей, мы упускаем её повседневную силу. Исторически честное чтение удерживает обе стороны сразу.

Такой текст также напоминает: старое правило существовало не само по себе, а внутри процедуры. Кто видел пятно первым? Кто мог привести человека на осмотр? Где он ждал? Чем питался? Что происходило с домом, пока хозяина не допускали обратно? Письменная норма редко отвечает на все эти вопросы. Она сообщает, как должен выглядеть правильный порядок, но не показывает каждое исполнение. Поэтому из закона нельзя прямо вывести число отделённых людей или эффективность меры. Между предписанием и жизнью всегда стоят расстояние, недостаток, семейная помощь, авторитет проверяющего и возможность уклониться.

Ещё осторожнее нужно обращаться со словом «проказа». Сегодня оно вызывает в памяти болезнь Хансена, вызываемую определённой бактерией. Древние и средневековые обозначения кожных поражений не совпадают с этой нынешней категорией. Один внешний признак мог объединять состояния разного происхождения, а одно современное заболевание в разных местах называли неодинаково. Значит, историк не должен ставить диагноз по нескольким строкам через

тысячи лет. Для этой книги важнее другое: видимый след на теле становился основанием изменить отношения человека с общиной. Эпидемическое правило начиналось не только с представления о причине болезни, но и с права кого-то осматривать, называть и отделять.

Древнегреческий рассказ о моровой болезни в Афинах открывает другую сторону проблемы. Фукидид описывает бедствие 430 года до нашей эры во второй книге «Истории Пелопоннесской войны». Он сообщает, что болезнь сначала проявилась в Пирее, а затем в верхнем городе; жители гавани подозревали, будто неприятель отравил цистерны. Сам автор заболел и наблюдал других. Он перечислил признаки, течение и общественные последствия так подробно, чтобы, по его словам, болезнь можно было распознать, если она когда-нибудь вернётся. За этим намерением легко увидеть знакомое стремление сохранить наблюдение. Но превращать его текст в готовую историю конкретного современного диагноза опасно.

Исследователи не раз пытались определить «афинскую чуму» по описанию симптомов. Предлагались брюшной тиф, оспа, корь и другие варианты. Само русское слово «чума» здесь способно обмануть: в старых текстах слова, переводимые как мор или чума, часто обозначали тяжёлое массовое бедствие, а не обязательно инфекцию, вызываемую бактерией *Yersinia pestis*. Палеогенетика — исследование древнего наследственного материала — иногда позволяет уточнить

возбудителя по человеческим останкам. Но одна находка и один литературный текст не всегда дают окончательное совпадение. Поэтому в этой главе мы говорим об афинской эпидемии или моровой болезни и не притворяемся, будто спор завершён.

Для повседневности важнее городская обстановка. Война согнала сельских жителей за афинские стены. Люди размещались тесно, в непривычных и тяжёлых условиях. Снаружи землю разоряло войско, внутри распространялась болезнь. Обычный выход — покинуть опасное место — становился почти недоступным. Граница, которая должна была защищать от военного нападения, одновременно удерживала множество людей рядом. Это важный повторяющийся сюжет: мера безопасности от одной угрозы может усилить уязвимость перед другой. Стена не была санитарным решением, однако определяла путь эпидемии не меньше, чем отдельные представления о лечении.

Фукидид пишет, что врачи вначале не знали, как помочь, и сами часто погибали, потому что чаще соприкасались с больными. Это наблюдение нельзя без оговорок переводить в нынешние показатели профессионального риска. Зато оно показывает социальную цену ухода. Чем нужнее становился близкий контакт, тем опаснее могла оказаться роль ухаживающего. Внутри дома вставал простой и страшный выбор: подать воду и остаться рядом или беречь себя. Современная памятка распределяет обязанности между больницей, службой

скорой помощи, родственниками и государством. В древнем городе значительная часть тяжести ложилась на дом и ближайшее окружение.

Рассказ об Афинах показывает также распад привычного похоронного порядка. Смертей было так много, что обряды нарушались, люди пользовались чужими погребальными кострами, а тела оставались без обычного сопровождения. Это не побочная подробность. Похороны подтверждают родство, положение и память; они требуют времени, места, топлива, труда и согласованных действий. Эпидемия меняет повседневность особенно глубоко, когда не просто уносит людей, а лишает живых возможности исполнить обязанность перед умершими. В четвёртой главе мы отдельно проследим, кто выполнял эту работу и почему записи о смерти нельзя принимать за полный счёт потерь.

И всё же афиняне не создали систему карантина. В описании нет устойчивой процедуры задержки прибывающих по признаку возможного контакта, отдельного места ожидания и органа, который выдавал бы разрешение войти. Были страх, слухи, уход за заболевшими, отказ от прежних обычаев и вынужденная теснота. Были попытки объяснить бедствие волей богов, действиями врага и природными причинами. Были наблюдения о повторном заболевании и об участии переболевших в уходе. Но соединять эти фрагменты в институт, которого ещё не существовало, значит писать историю задним числом.

Древние объяснения мора вообще нельзя разложить на две аккуратные коробки: «суеверие» и «наука». Религиозное толкование могло соседствовать с наблюдением за ветром, водой, пищей и временем года. Человек обращался к боже-ству, менял место ночлега и избегал больного не потому, что выбрал одну теорию из учебника. Он пользовался несколькими способами сделать бедствие понятным. Одни действия были символическими, другие меняли физический контакт, а часто одно действие выполняло обе функции. Очищение возвращало человеку общественное положение и одновременно заставляло ждать. Запрет входа обозначал опасную границу и действительно сокращал число встреч. Мотив и возможный результат не обязаны совпадать.

На этом месте особенно легко сочинить лестницу прогресса. На нижней ступени будто бы стоят древние люди, объясняющие всё гневом богов; выше — наблюдатели; на вершине — мы, наконец знающие истину. Такая картинка удобна и неверна. Во-первых, древние общества накапливали точные наблюдения, не имея современной микробиологии. Во-вторых, полезное правило могло быть связано с жестоким наказанием или ложным обвинением. В-третьих, научное знание само по себе не гарантирует справедливого исполнения. Позднейшие главы покажут, как санитарные меры сопровождались торговым соперничеством, классовым надзором и стигмой. История идёт не от тьмы к свету, а через новые возможности, новые учреждения и новые способы рас-

пределять власть.

Римские и позднеантичные авторы также описывали моры как события, которые одновременно затрагивали тело, город и закон. Но слово «эпидемия» в современном статистическом смысле к их текстам применять нужно осторожно. Сегодня оно подразумевает число случаев выше ожидаемого уровня в определённой группе и за определённое время. Древний рассказ обычно строился иначе: автор выбирал признаки необычайного бедствия — переполненные места погребения, прекращение торговли, бегство, недостаток ухаживающих. Он мог преувеличивать ради нравственного или политического вывода, но мог и сохранять детали, недоступные больше нигде. Такой источник нужно читать как свидетельство с автором, жанром и задачей, а не как испорченную современную ведомость.

Когда в VI веке нашей эры Прокопий Кесарийский описывал мор при императоре Юстиниане, он связывал рассказ с движением болезни, массовой смертностью и нарушением городской жизни. Современные исследования древней ДНК подтвердили присутствие *Yersinia pestis* в останках, относимых к первой пандемии чумы. Это важное уточнение, но оно не превращает каждую подробность Прокопия в лабораторно подтверждённый факт и не даёт одинакового диагноза всем более ранним «морам». Текст и биологическая находка отвечают на разные вопросы. ДНК помогает установить возбудителя в конкретном материале; рассказ показывает, что

заметил автор и как бедствие перестроило город.

Один из ответов на эпидемическую угрозу был прост до жестокости: не пустить людей из поражённого места. В источниках раннего Средневековья встречаются сообщения о вооружённой охране границ и дорог во время чумы. Здесь уже виден знакомый жест — провести линию и поставить у неё человека с полномочием остановить другого. Но и это ещё не обязательно карантинная система. Охрана могла закрывать путь всем прибывающим без различия, не предусматривать срока ожидания и не создавать способа безопасного допуска. Это скорее кордон: попытка оградить территорию. Для путника различие между кордоном и карантинном было не словарным. В первом случае дорога просто заканчивалась; во втором появлялась хотя бы формальная возможность дожидаться решения.

Есть и другой древний ответ — бегство. Богатая семья могла уехать в загородное владение, правитель перенести двор, торговец выбрать другой порт. Бедный городской житель, раб, воин или человек, прикреплённый к работе, часто такой возможности не имел. Поэтому совет «избегать заражённого места» всегда скрывает вопрос о ресурсах. Нужны транспорт, запас пищи, безопасное жильё и право пересечь границу. Бегство уменьшало контакты для одних и переносило риск к другим. В истории повседневности нельзя описывать его только как личный выбор.

Изгнание заболевшего тоже не равнялось заботе. Отде-

лить человека — ещё не значит обеспечить ему кров, пищу и уход. Любая мера разобщения создаёт вторую задачу: как поддерживать жизнь по другую сторону границы. Если источники подробно говорят о запрете и молчат о снабжении, это молчание следует заметить. Возможно, помощь считалась делом семьи или общины и потому не попала в норму. Возможно, её не было. Историк не имеет права уверенно заполнить пробел, но обязан задать вопрос. Позднее города будут строить специальные помещения, нанимать служителей и учитывать расходы. Именно превращение разового запрета в обеспеченную процедуру станет одной из ступеней к карантину.

Ещё одна ступень — срок. Семь, тридцать или сорок дней в старых нормах не следует автоматически считать рассчитанным инкубационным периодом в современном понимании. Число могло иметь обрядовое, правовое или привычное значение. Оно могло быть удобным для повторного осмотра или связано с представлением о течении острой болезни. Чтобы доказать медицинский расчёт, мало совпадения числа с нынешней оценкой. Нужен текст, где составитель связывает срок с наблюдаемым появлением признаков, а затем превращает эту связь в правило допуска. Без такого свидетельства правильнее сказать: ожидание имело установленную длительность, причины выбора которой могли быть смешанными.

Отсюда следует важное различие между изоляцией и ка-

рантином. В нынешнем профессиональном языке изоляция отделяет заболевшего, а карантин ограничивает движение того, кто мог подвергнуться воздействию, но ещё не имеет признаков болезни. В разные эпохи слова употреблялись иначе, и даже сегодня юридические определения меняются по странам. Для чтения прошлого различие полезно не как способ исправить древнего автора, а как вопрос к источнику. Человека отделили из-за видимых признаков, происхождения из опасного места, прикосновения к умершему или просто принадлежности к подозреваемой группе? Ответ показывает логику власти.

Подозреваемая группа — самая тревожная часть этой истории. Во время бедствия общество стремится сделать невидимую угрозу видимой. Её отмечают на теле, одежде, речи, месте рождения или занятии. Так появляется удобная, но часто ложная уверенность, что опасность имеет лицо чужака. Религиозные меньшинства, странники, нищие и люди с заметными кожными изменениями могли становиться объектами обвинения независимо от действительной роли в распространении болезни. Ограничение контакта тогда соединялось с наказанием за отличие. Историк должен отделять свидетельство о мере от оправдания преследования.

Это отделение начинается с простого приёма: не считать распоряжение фотографией общества. Если правитель запрещает жителям покидать город, документ прежде всего доказывает, что такой запрет был издан. Само его появление

может означать, что люди как раз уезжали и власть не могла это остановить. Повторение запрета через неделю порой свидетельствует не о строгости исполнения, а о его слабости. Штраф показывает, чего опасалась власть, но не сообщает автоматически, сколько нарушителей нашли. Жалоба купца, запись о расходах на стражу и письмо путешественника способны изменить картину сильнее, чем ещё один торжественный указ.

Поэтому в этой книге каждое повседневное правило мы будем раскладывать на пять вопросов. Кто его сформулировал? К кому оно относилось? Кто исполнял? Как люди обходили или оспаривали его? Что осталось после окончания бедствия? Такой разбор не обесценивает норму. Он возвращает ей реальный масштаб. Семидневное ожидание в религиозном тексте, закрытая городская дорога и портовая задержка судна — три разных устройства жизни, даже если во всех случаях люди оказываются разделены.

Попробуем прочесть древнее предписание без современного ярлыка. Сначала выпишите слова самого источника: кто осматривает, какой признак замечает, на какой срок откладывает решение, что происходит после повторного осмотра. Затем отдельно запишите то, чего текст не говорит: причину болезни, способ передачи, условия снабжения, число исполненных решений. Третьим шагом найдите жанр. Это закон, хроника, религиозное установление, медицинское сочинение или поздний пересказ? Четвёртым —

укажите бытовое последствие: потеря заработка, невозможность войти, перенос похорон, обязанность ухаживать. Только после этого сравнивайте с современным понятием.

Такой порядок защищает от двух противоположных ошибок. Первая — снисходительно объявить древнего человека невежественным и не заметить накопленного наблюдения. Вторая — похвалить его за «открытие карантина» и вложить в старое действие нынешнюю теорию. Между ними лежит более интересная история. Люди видели повторяемость бедствия, меняли расстояние между телами, ограничивали вход и назначали сроки. Они делали это внутри своих представлений о чистоте, долге, власти и чужом. Результаты могли быть полезными, бесполезными или разрушительными; источник не всегда позволяет их измерить.

До появления слова «карантин» уже существовал главный человеческий жест, из которого он вырастет: поставить границу между опасностью и обычной жизнью. Но граница оставалась подвижной. Она проходила вокруг тела, дома, стана, городских стен или целой области. Её проводили священник, семья, военная стража или бегущий горожанин. Не было единого учреждения, которое соединяло бы подозрение, место ожидания, срок, снабжение, осмотр и разрешение войти.

В следующей главе эти разрозненные элементы соберутся в портовом городе. У властей Рагузы появится задача, которой не решает простое закрытие ворот: сохранить торгов-

лю и одновременно задержать прибывающих из поражённых мест. Тогда ожидание станет записанным условием допуска, а расстояние — частью городской администрации. Именно там важно будет различить первоначальные тридцать дней, позднейшие сорок и слово, которое закрепилось в языке. Мы подойдём к карантину не как к внезапному изобретению, а как к новой организации старого страха.

Глава 2. Сорок дней у гавани

Утром 27 июля 1377 года Большой совет Рагузы решал не отвлечённый медицинский вопрос. Небольшой город-республика на Адриатике жил торговлей. В его гавань приходили люди и товары из мест, где могла свирепствовать чума. Закрыть порт значило защитить город ценой его заработка; впустить всех — принять риск новой вспышки. Решение совета создало третью возможность: прибывающий из поражённого места не входил сразу, но и не получал окончательного отказа. Он должен был провести месяц в назначенном месте, после чего путь в город мог открыться.

Это решение часто пересказывают одной броской фразой: «В Рагузе изобрели сорокадневный карантин». Фраза удобна и неточна сразу в двух местах. В постановлении 1377 года речь шла первоначально о тридцати днях — трентине, от итальянского слова «тридцать». Слово «карантин» связано с сорока днями и закрепилось за практикой позднее. Кроме того, учреждение не возникло из одной идеи одного врача. Оно требовало решения совета, мест ожидания, надзора, запрета контактов, наказаний и снабжения. Изобретением здесь было не число, а управляемая отсрочка входа.

Чтобы понять её значение, нужно увидеть Рагузу не на современной туристической открытке, а как узел движения. За городскими стенами находились склады, причалы, мастер-

ские, рынки и дома людей, чья жизнь зависела от прибытия судов. Купец вёз не только мешки и ящики: он привозил письма, сведения о ценах, долговые обязательства и обещания следующей поставки. Моряк должен был получить плату, грузчик — работу, хозяин постоялого двора — гостя. Любая задержка распределяла убыток по длинной цепи. Именно поэтому простое «не пускать» было слишком дорогим ответом.

Чума уже показала средиземноморским городам масштаб опасности. После бедствия середины XIV века власти не обладали нынешним знанием о бактерии *Yersinia pestis*, грызунах, блохах и разных формах болезни. Они, однако, видели связь между движением из поражённых мест и последующей смертностью. Для административного решения этого наблюдения оказалось достаточно. Город не ждал окончательной теории причины. Он ввёл правило на основании происхождения путешественника и времени без признаков болезни.

Так возникла новая фигура повседневной жизни — человек, который ещё не признан больным, но уже не считается безопасным. В древнем осмотре из предыдущей главы основанием для отделения чаще служил видимый признак или ритуальное состояние. Рагузское правило обращалось к прибывающему из определённого места. Подозрение переместилось с тела на маршрут. Человек мог выглядеть здоровым, говорить, что чувствует себя прекрасно, и всё же обязан был ждать. Его прошлое путешествие становилось частью его об-

щественного положения.

Латинское название решения обычно передают словами: прибывающий из зачумлённых мест да не входит в Рагузу или её округ. Сам запрет, однако, был только первой строкой системы. Если путника нельзя пустить, нужно определить, где он останется. Ранние места ожидания связывают с островами Мркан, Бобара и Супетар у побережья, а для сухопутных прибывающих упоминается отдельное место вне города. Остров удобен как естественная граница, но вода сама по себе никого не кормит и не охраняет. Требовались лодки, люди, разрешённые контакты и порядок доставки необходимого.

Постановление ограничивало и жителей Рагузы. Нельзя было просто отправиться к ожидающим, поговорить с деловым партнёром или тайно забрать товар. Источники и исторические обзоры сообщают о допуске специально назначенных лиц и о наказании за нарушение. Это существенная перемена. Правило касалось не только чужака за границей. Оно переустроивало день горожанина: определяло, с кем можно встречаться, где заканчивается обычная торговля и кто получает исключительное право пересекать черту.

Такая черта никогда не бывает идеально герметичной. Ожидающим нужны вода, пища и вести. Товар нужно охранять. Решение о завершении срока должен кто-то сообщить. Каждая необходимая связь создаёт новый риск и новую возможность для обхода. Если родственник передал хлеб, купец

договорился о продаже через посредника, а служитель перенёс письмо, изоляция не исчезла, но стала сетью контролируемых контактов. История карантина — не история полного неподвижного одиночества. Это история попыток решить, какое движение допустимо и кто вправе его разрешать.

Месячный срок делал подозрение конечным. В этом преимущество трентины перед бессрочным изгнанием. Путник мог рассчитывать, что при отсутствии признаков болезни получит доступ в город. Для торговли ожидание было потерей, но предсказуемая потеря отличается от закрытой границы. Купец способен заложить месяц в расчёт, изменить цену, договориться о хранении. Город, в свою очередь, сохранял возможность принимать людей и товары, не отменяя осторожности. Карантинная логика выросла из напряжения между безопасностью и обменом, а не из желания остановить всякую жизнь.

Почему именно тридцать дней? Популярное объяснение нередко выводит позднейшие сорок дней прямо из библейских сроков, гиппократовского представления об острых болезнях или наблюдения за развитием чумы. Эти версии не всегда подтверждаются документом, который установил конкретное правило. Число могло быть одновременно знакомым сроком, административно удобным отрезком и результатом накопленного опыта. Совпадение с религиозным числом ещё не доказывает религиозный мотив; совпадение с медицинским наблюдением не доказывает современного расчё-

та инкубации. Надёжнее признать границу знания, чем выбирать красивую причину.

Сорокадневный срок распространился позднее, а название, восходящее к «сорока», стало общим. Поэтому заголовок этой главы намеренно содержит известные сорок дней, но путь к ним начинается с месяца. Если сразу говорить о карантине 1377 года как о неизменной сорокадневной процедуре, исчезает развитие института. Правила уточнялись, места менялись, круг должностных лиц расширялся. Рагуза не однажды издала совершенный закон, а десятилетиями училась превращать постановление в службу.

В 1390 году в городе появился постоянный орган здравоохранения — один из ранних подобных органов, известных историкам. Постоянство важно не меньше первого указа. Во время вспышки можно назначить людей на несколько недель, а затем распустить их. Служба сохраняет записи, опыт, полномочия и привычку проверять прибывающих между кризисами. Чрезвычайная мера начинает жить как учреждение. Для горожан это означает появление новых должностных лиц, к которым обращаются за разрешением и чьи решения могут задержать сделку.

Позднейшие рагузские правила подробнее определяли надзор и наказания. В источниках встречается название слугителей, которых в историографии передают как качаморти: они следили за исполнением мер во время чумы. Не стоит представлять их современными санитарными инспекторами

в одинаковой форме. Их полномочия, положение и обязанности менялись. Но сама потребность в исполнителе показывает зрелость системы. Закон без человека у пристани остаётся текстом. Закон со служителем, расходами, журналом и местом ожидания превращается в повседневную практику.

Для ожидающего эта практика могла быть тяжёлой. Остров не был курортом с заранее оплаченным жильём. Скученность, жара или холод, недостаток удобств и неопределённость за стенами делали срок испытанием. Болезнь могла проявиться у соседа по месту ожидания и изменить положение всей группы. Источник, написанный советом, сообщает порядок допуска, но редко передаёт раздражение моряка, страх семьи или спор о испорченном грузе. Чтобы восстановить опыт, нужны счета, судебные дела, письма и жалобы, а не только торжественный текст решения.

Карантин затрагивал вещи не меньше людей. В представлениях эпохи опасность могла связываться с тканями, письмами, шерстью и другим товаром. Практики проветривания, окуривания и хранения строились на смешении наблюдения, теории о заражённом воздухе и торговой осторожности. Некоторые действия могли случайно уменьшать риск, другие портили имущество без пользы. Нельзя оценивать весь комплекс одним словом «работал». Нужно спрашивать, какую болезнь, какой путь передачи и какой именно контакт изменяла мера.

Современное знание также не позволяет объявить любой

исторический карантин успешным. Чума могла распространяться при участии блох и грызунов, находившихся на судне или в грузе. Задержка людей при свободном перемещении крыс не обязательно создавала надёжную защиту. При лёгочной форме тесный контакт людей имел другое значение. Кроме того, под названием чумы современники могли объединять разные болезни. Поэтому снижение числа вспышек после введения правила ещё нужно отделить от случайности, сезонности, изменения торговых маршрутов и других мер.

Но у Рагузы было достижение, которое можно увидеть без преувеличения медицинской эффективности. Город сделал риск предметом публичной процедуры. Не капитан единолично решал, сходить ли команде на берег; не толпа у ворот выбирала, прогнать ли чужака. Совет установил общее условие, место и срок. Такая процедура могла исполняться неравно и вызывать злоупотребления, однако давала основание требовать одинакового решения в похожих случаях. Именно возможность сравнить правило и исполнение отличает учреждение от стихийного страха.

Равенство оставалось ограниченным. Влиятельный купец имел больше способов договориться, обеспечить себя припасами и пережить задержку, чем бедный матрос или сухопутный странник. Собственник груза мог переложить расходы в цену, наёмный работник просто терял заработок. Горожанин, назначенный доставлять пищу, подвергался риску ради чужого движения. Поэтому фраза «город защитился»

скрывает вопрос: кто оплатил защиту временем, деньгами и телом?

Защита могла становиться орудием торговой борьбы. Объявление порта заражённым било по его репутации и задерживало суда. Власти имели соблазн преуменьшить болезнь у себя и преувеличить опасность конкурента. Позднее санитарные свидетельства и международные соглашения попытаются сделать сведения сопоставимыми, но полностью политический интерес не исчезнет. Уже в Рагузе здоровье и торговля не были противоположностями: правила создавались именно для сохранения обмена, а потому зависели от доверия к сообщениям о происхождении судна.

Капитан мог назвать последний порт, но маршрут часто включал несколько остановок. Команда менялась, груз переходил из рук в руки, сведения запаздывали. Как решить, какое место считать опасным? Сколько времени прошло после выхода? Был ли на борту умерший? Без ответов месячный срок превращался в грубый общий фильтр. Администрация постепенно накапливала категории и документы, а путешественники учились представлять свой маршрут в выгодном свете. Там, где появляется контроль, появляется и искусство пройти контроль.

По этой причине история карантина — ещё и история бумаги. Сначала достаточно решения совета и устного сообщения о происхождении. Затем растёт число записей: кто прибыл, откуда, когда начался срок, кто отвечает за снабжение,

было ли заболевание, когда разрешён вход. В шестой главе мы увидим, как портовые документы станут своеобразными воротами для человека и товара. Пока важно заметить начало: ожидание должно иметь дату, иначе его нельзя закончить по правилу.

Дата превращает пространство острова во время администрации. Для человека день мог тянуться бесконечно; для служителя он становился отметкой в счёте. Ошибка в одном дне означала лишнюю потерю или преждевременный допуск. Кто умел читать запись и кто мог её оспорить? Средневековое учреждение не давало нынешних гарантий обжалования. Но сам записанный срок открывал возможность показать, что условие выполнено. Это маленькое изменение в повседневности путешествия: путь завершался не тогда, когда судно достигало гавани, а когда власть признавала ожидание достаточным.

Трентина изменила и значение острова. Место, которое прежде могло быть лишь точкой на морском пути, стало санитарной прихожей города. Оно одновременно принадлежало торговой системе и находилось вне обычного городского общения. Такие пограничные места позже назовут лазаретами и обстроят специальными зданиями. Их устройство будет сообщать архитектурой то же, что закон сообщал словами: движение разрешено по определённому пути, группы разделены, вещи проходят обработку, служители наблюдают.

Не следует, однако, переносить на 1377 год весь поздней-

ший комплекс Дубровницких лазаретов. Знаменитые каменные сооружения у восточного входа в старый город относятся к более позднему времени. Туристическое изображение готового комплекса легко подменяет раннюю практику на островах. Источник нужно датировать не только по событию, но и по самому предмету на фотографии. Если здание возведено через столетия после первого постановления, оно свидетельствует о долговечности системы, а не о её первоначальном виде.

То же относится к слову «первый». Рагузское решение часто называют первым карантинным законом в мире. Это оправданная и широко принятая формула, если точно назвать критерий: сохранившееся официальное постановление, которое вводило обязательное ожидание прибывающих из поражённых мест перед входом. Она не означает, что до 1377 года никто нигде не ограничивал движение из-за болезни. Первая глава показала более ранние отделения и кордоны. Первенство Рагузы состоит в сочетании условий и документированной городской процедуре.

Чтобы проверить рассказ о «первом карантине», полезно составить короткую цепочку. Первичный след — запись решения Большого совета в рагузской книге законов. Академическое исследование объясняет политическое устройство города, места ожидания и дальнейшее развитие службы. Медицинский исторический обзор помещает решение в длинную историю противоэпидемических мер. Популярная

статья сокращает всё до сорока дней и одного острова. Чем дальше пересказ от документа, тем легче тридцать превратить в сорок, раннее место — в позднее здание, а развитие — в мгновенное изобретение.

Практика чтения для этой главы начинается с четырёх строк. Запишите дату решения: 27 июля 1377 года. Запишите адресата: прибывающие из мест, считавшихся поражёнными. Запишите первоначальный срок: один месяц, то есть тридцать дней. Запишите условие допуска: ожидание вне города до входа. Затем добавьте вопросы, на которые краткая формула не отвечает: как определяли опасное место, кто снабжал ожидающих, что происходило при болезни, распространялось ли правило на товар и как взыскивали наказание.

После этого проверьте каждую иллюстрацию и красивую деталь. Не выдаётся ли поздний лазарет за место 1377 года? Не назван ли тридцатидневный срок сорокадневным только из-за знакомого слова? Не приписана ли мера одному врачу без решения совета и труда служителей? Не объясняется ли число сорок религиозной символикой без ссылки на документ? Такой разбор не разрушает историю Рагузы. Напротив, он показывает настоящее достижение города точнее легенды.

Рагуза не победила чуму одним постановлением. Она нашла способ не выбирать каждый раз между полностью открытой и навсегда закрытой гаванью. Месяц ожидания превратил неопределённость в процедуру, а процедуру — в об-

ласть городской власти. Отныне повседневность порта включала место, куда отправляли до допуска; человека, который следил за сроком; и границу, которую нельзя было пересечь по собственной воле.

Но граница у гавани была только началом. Если опасность уже вошла в город, задержка прибывающего не решала судьбу семьи внутри стен. Дом заболевшего мог сам стать маленьким островом: его отмечали, охраняли, снабжали или бросали. В следующей главе мы войдём за такую дверь и увидим, как публичная мера меняла частное пространство, превращая соседей в наблюдателей, а жилище — одновременно в убежище и тюрьму.

Глава 3. Дом получает знак

Утром 7 июня 1665 года Сэмюэл Пипс ехал по Друри-лейн и впервые увидел два или три дома с красными крестами на дверях. Над знаком были написаны слова с просьбой о Божьей милости. В дневнике чиновника эта встреча занимает одну короткую запись, но именно её часто повторяют, когда хотят показать Лондон Великой чумы одним кадром. Дверь, крест, надпись — и город сразу кажется разделённым на чистые и заражённые дома.

Этот кадр правдив, но слишком неподвижен. За дверью оставались не только заболевшие. Там могли находиться дети, слуги, родственники и жильцы, у которых ещё не было признаков болезни. Снаружи стоял сторож. Он должен был не выпускать людей и одновременно приносить им необходимое. Приход отвечал за часть расходов, должностные лица искали заболевших, женщины-осмотрщицы обследовали тела умерших, а могильщики вывозили мёртвых. Красный крест был не просто предупреждением соседу. Он обозначал целую систему труда, денег, принуждения и записей.

Лондон не изобрёл домашнее заключение летом 1665 года. Английские власти применяли запираание заражённых домов во время более ранних вспышек, а парламентский закон 1604 года дал правовую основу для помощи и надзора за людьми, связанными с чумой. В 1665 году городские власти

вновь опубликовали подробные приказы. Их смысл нельзя свести к фразе «больных посадили на карантин». Портовый карантин из предыдущей главы задерживал прибывающего до допуска. Здесь граница проходила по порогу уже обжитого дома, а решение об одном больном меняло свободу всей семьи.

Приказы начинались не с креста, а с обнаружения. В каждом приходе полагалось назначить проверяющих, которые выясняли, какие дома посещены болезнью и кто чем болен. Если возникало подозрение, доступ к дому могли ограничить до выяснения. После признания случая чумой проверяющий велел констеблю запереть дом. Так частное недомогание превращалось в административный факт: кто-то должен был узнать, назвать, сообщить и привести распоряжение в исполнение.

На бумаге последовательность выглядит стройно. В жизни первый шаг уже создавал конфликт. Сообщить о подозрительной болезни означало подвергнуть ограничению всех, кто жил под одной крышей. Для хозяина мастерской это грозило остановкой заработка; для слуги — потерей свободы без собственных средств; для снимающего угол — заключением из-за чужой болезни. Семья могла скрывать симптомы, откладывать обращение за помощью или уговаривать осмотрщицу назвать другую причину смерти. Власть требовала раннего сообщения, но наказание за сообщение делало молчание выгодным.

Это противоречие важно и для оценки результата. Если официальное число отмеченных домов росло, оно могло отражать усиление вспышки, более усердный поиск или оба процесса сразу. Если число снижалось, это не обязательно означало уменьшение болезни: жители могли успешнее скрывать случаи, должностные лица — не успевать, а система — разрушаться под нагрузкой. Административная запись сообщает не только о болезни, но и о способности администрации видеть её.

Дом, признанный заражённым, отмечали красным крестом примерно в фут длиной посередине двери. Рядом помещали печатную формулу «Господи, помилуй нас». Знак должен был оставаться до законного открытия. Для прохожего он сообщал: не входить. Для сторожа — охранять. Для приходского служителя — учитывать расходы. Для живущих внутри он публично объявлял то, что семья могла желать скрыть. Болезнь получала адрес.

Знак менял отношения с соседями ещё до физического запираания. Сосед видел не отдельного заболевшего, а помеченный дом. Торговец мог отказаться приближаться. Хозяин жилья опасался за имущество и будущих нанимателей. После открытия надпись можно было убрать, но память улицы не исчезала вместе с краской. Маркировка помогала избегать контакта и одновременно превращала семью в источник опасности в глазах квартала. Защитная информация легко становилась клеймом.

Надпись была религиозной, однако приказ действовал через вполне земные должности. У каждого заражённого дома предполагались два сторожа: дневной и ночной. Они следили, чтобы никто не вышел, и выполняли поручения жильцов. В правилах соединены охрана и помощь. Один и тот же человек удерживал дверь закрытой и доставлял еду. Поэтому сторожа нельзя представить только тюремщиком или только добровольцем милосердия. Его положение было противоречивым по самой должности.

Если семья могла платить, необходимое доставляли за её счёт. Если не могла, расходы относили на общие средства. Эта строка в приказе особенно ценна: она показывает, что запирание без снабжения считалось невыполнимым даже его сторонниками. Человек не перестаёт есть из-за знака на двери. Нужны хлеб, вода, топливо, лекарства в тогдашнем понимании, уход за больным и удаление умерших. Чем строже запрет выхода, тем длиннее список тех, кто должен подходить снаружи.

Фраза об общих расходах ещё не доказывает, что каждый бедный дом получал достаточно. Между правилом и буханкой лежали сбор денег, решение приходских служителей, наличие поставщика и честность исполнителя. Во время большой смертности работников не хватало, цены менялись, а состоятельные жители и часть должностных лиц покинули город. Обещание снабжения нужно читать вместе с приходскими счетами и жалобами. Только тогда видно, сколько по-

мощи дошло до двери и как часто семья оставалась зависимой от случайности.

Порог превращался в место обмена без обычной встречи. Жильцы передавали просьбу сторожу, тот шёл за покупкой и возвращался. Деньги и вещи старались подавать так, чтобы уменьшить прикосновение. Источники и позднейшие рассказы упоминают сосуды с уксусом для монет и передачу покупок через окно или верёвку. Подобная яркая деталь требует осторожности: нужно проверять место, дату и автора, а не переносить один описанный приём на весь город. Но сама задача несомненна. Дом должен был участвовать в хозяйстве, оставаясь закрытым.

Отсюда возникала власть сторожа над повседневными мелочами. Он решал, как быстро выполнить поручение, верно ли передать сдачу, позвать ли чиновника, допустить ли исключение. Низко оплачиваемая и опасная работа давала доступ к чужим деньгам и семейным тайнам. Одни сторожа помогали, другие могли брать плату за побег, спать на посту или злоупотреблять зависимостью жильцов. Приказ перечисляет обязанности, но не гарантирует характера исполнителя.

Семьи сопротивлялись не только тайно. В материалах Тайного совета сохранилось дело о доме под вывеской корабля в новых зданиях Сент-Джайлса. Дом считался подозрительным, дверь была отмечена крестом и бумагой, но знак сорвали, дверь открыли, а жильцам позволили выйти на

улицу. Власть назвала случившееся беспорядком и потребовала найти виновных и сурово наказать их по закону. Документ показывает не безупречную систему, а момент, когда система дала трещину на виду.

Почему люди открывали дверь? Сам приказ ответа не даёт. Возможны разные причины: страх остаться со смертельно больным, нехватка пищи, отрицание диагноза, необходимость заработать, возмущение коллективным наказанием или уверенность соседей, что подозрение ошибочно. Историк не должен выбирать удобный мотив без свидетельства. Но можно установить столкновение интересов. Для совета открытая дверь означала опасное неповиновение. Для запертой семьи та же дверь могла быть единственным выходом к помощи.

Домашняя изоляция особенно тяжело действовала там, где несколько семей делили комнаты, лестницу, двор или уборную. Само слово «дом» создаёт ложный образ отдельного здания одной семьи. В густонаселённых приходах под одной крышей могли жить хозяева, ученики, слуги, квартиранты и бедные постояльцы. Ограничение по адресу собирало их в одну административную единицу, хотя их родство, доход и возможность отделиться различались.

Это имело и медицинское последствие. Запирая здоровых вместе с заболевшим в тесном помещении, власть могла увеличить опасность для тех, кто ещё не заразился. Современники спорили об этом. Анонимные памфлеты и позднейшая

реконструкция Даниеля Дефо описывали домашнее заключение как жестокую и порой бесполезную меру. Дефо родился в 1660 году и опубликовал «Дневник чумного года» в 1722-м, через пятьдесят семь лет после эпидемии. Его книга опиралась на документы, семейную память и литературное мастерство, поэтому она незаменима для истории того, как вспышку помнили, но её нельзя цитировать как обычный дневник взрослого очевидца 1665 года.

Сэмюэл Пипс, напротив, действительно вёл дневник во время событий. Но и его запись имеет предел. Он увидел несколько дверей и передал собственное потрясение. Он не вошёл внутрь, не перечислил жильцов и не проверил их снабжение. Дневник прохожего сообщает о видимости знака в городе; приходской счёт — о расходах; приказ — о задуманной процедуре; жалоба — о её цене. Ни один источник не заменяет остальные.

Женщины-осмотрщицы занимали ещё одно трудное место между домом и властью. Их посылали осматривать тела и сообщать предполагаемую причину смерти. От их заключения зависело, попадёт ли случай в недельный список и будет ли дом признан заражённым. Власти подозревали таких работниц в ошибках и подкупе, а позднейшие авторы часто изображали их невежественными старухами. Это удобный стереотип. Низкий статус и отсутствие современного медицинского образования не означают, что каждая осмотрщица была бесполезна; но условия её труда действительно созда-

вали риск ошибок.

Причину смерти определяли без лаборатории, а симптомы разных болезней могли быть похожи. Семья имела причину просить более безопасную запись. Приход мог опасаться расходов. Осмотрщица рисковала здоровьем, входя в подозрительные дома, и затем должна была обозначать себя на улице. Городские приказы требовали, чтобы осмотрщики, хирурги, сторожа и могильщики носили заметный красный жезл и избегали общества. Не только дом, но и обслуживавший его человек становился движущимся знаком риска.

Так возникала цепочка, в которой ошибка на первом звене меняла всё последующее. Кто-то сообщал о больном. Проверяющий принимал решение. Констебль запирали дверь. Сторож удерживал жильцов и приносил необходимое. Осмотрщица называла причину смерти. Приход записывал случай. Печатный недельный бюллетень превращал множество таких записей в картину города. Когда читатель видит итоговую цифру, за ней уже скрыты разговоры у постели, торг у порога и решения людей с разной властью.

Срок тоже был сложнее привычных «сорока дней». В лондонских приказах 1665 года встречается требование держать дом закрытым четыре недели после того, как все станут здоровы. Отсчёт, следовательно, зависел не только от даты первого запираения. Новый случай внутри мог отодвинуть открытие. В других английских распоряжениях и пересказах фигурировали иные формулы и сорокадневные сроки. Нель-

зя взять самое известное число и приписать его каждому дому без проверки конкретного документа.

Для семьи неопределённость срока могла быть страшнее самого календаря. Если отсчёт начинается заново после очередной болезни, невозможно уверенно назвать день освобождения. Кто решает, что все здоровы? Кто приходит проверить? Записана ли дата? Есть ли способ оспорить ошибку? Портовый путешественник ждал допуска вдали от города; лондонец мог видеть привычную улицу из окна и не иметь права ступить на неё.

Богатство меняло переживание меры. Состоятельный человек мог уехать до закрытия, располагать запасами, иметь отдельные комнаты и нанять уход. Бедная семья чаще зависела от ежедневного заработка и приходской помощи. Но простого деления на богатых спасшихся и бедных запертых недостаточно. Слуги могли остаться в доме у уехавшего хозяина; состоятельный дом тоже могли закрыть после внезапной болезни; бедняки находили способы уйти или опирались на соседей. Неравенство повышало или снижало возможности, не превращая судьбу каждого в заранее известную.

Важен и пол. Уход за больным внутри дома обычно не прекращался из-за распоряжения. Его выполняли родственницы, служанки и нанятые сиделки, чьи голоса хуже представлены в официальной бумаге. Снаружи женщины-осмотрщицы соприкасались с телами и несли ответственность за опасную классификацию. Когда история домашне-

го карантин рассказывается только через мэра, врача и сторожа, исчезает большая часть труда, благодаря которому закрытая дверь вообще могла оставаться закрытой.

Дети переживали то же правило иначе. Приказ не объяснял ребёнку, почему нельзя выйти и почему знакомый взрослый стоит у двери. Если заболел родитель, обычный порядок заботы рушился. Если умирал кормилец, открытие дома не возвращало прежнюю жизнь. Эпидемическое распоряжение имело установленный срок, но его хозяйственные и семейные последствия срока не имели.

Можно ли считать запираание домов эффективным? Один общий ответ будет ненадёжным. Чума 1665 года была связана с бактерией *Yersinia pestis*; пути её распространения могли включать блох, грызунов и при некоторых формах тесный контакт между людьми. Домовая граница воздействовала на одни контакты и могла почти не затрагивать другие. Крысы не читали красный крест. Блохи не подчинялись сторожу. Перенос вещей, работа служителей и скученность внутри оставляли пути распространения.

Кроме того, мера менялась по мере роста эпидемии. То, что можно строго выполнять при нескольких домах, становится другим при сотнях. Требуется вдвое больше сторожей на каждый адрес, больше денег, еды, проверяющих и мест для погребения. Когда число заражённых домов превышает возможности приходов, правило может сохраняться на бумаге и ослабевать на улице. Оценивать его следует не по за-

мыслу в июльском приказе, а по исполнению в разные недели и районы.

И всё же домашняя изоляция оставила долговечный след. Она сделала жилище объектом санитарного управления. Власть получила основание войти в частную жизнь через сведения о болезни, присвоить дому статус, ограничить выход и назначить обслуживание. Позднейшие системы уведомления и изоляции будут устроены иначе, с другими знаниями, учреждениями и правами. Но вопрос останется узнаваемым: что общество вправе потребовать от семьи ради защиты соседей и что оно обязано дать семье взамен?

Ответ XVII века был неполным, однако в самих приказах уже видна связь принуждения и обязанности. Если власть закрывает дверь, она должна организовать необходимое. Если требует сообщить болезнь, ей приходится создавать должности для проверки. Если обозначает опасность, знак должен иметь правило снятия. Это не делает систему справедливой. Это позволяет увидеть, где именно она нарушала собственную логику.

Практика чтения для этой главы состоит из двух документов. Сначала возьмите городской приказ. Выпишите, кто обнаруживает случай, кто закрывает дом, кто стоит у двери, кто оплачивает еду, сколько длится ограничение и кто вправе его закончить. Не заменяйте должности общим словом «власти»: у каждого действия должен быть исполнитель.

Затем найдите жалобу, судебное дело, приходской счёт

или дневниковую запись из того же времени и места. Спросите, появилось ли обещанное снабжение, сколько оно стоило, пытались ли жильцы выйти, был ли наказан сторож и совпал ли фактический срок с предписанным. Если второго источника нет, так и запишите: известно правило, но не известно его исполнение в этом доме.

Отдельно проследите путь знака. Кто решил нанести крест? Кто его рисовал или прикреплял? Что должен был понять прохожий? Кто снимал знак? Сохранилось ли свидетельство жильца, а не только наблюдателя с улицы? Эти вопросы защищают от соблазна принять выразительную дверь за полную историю семьи.

Красный крест работал сразу в трёх качествах. Он предупреждал о возможной опасности, приказывал держаться на расстоянии и публично называл дом заражённым. Первые две функции могли уменьшать часть контактов. Третья создавала стыд, страх и стимул скрывать болезнь. Историческая мера редко бывает только разумной или только жестокой: её последствия расходятся для чиновника, соседа, больного, здорового родственника и человека, который приносит хлеб.

В предыдущей главе городская граница отодвинулась к острову перед гаванью. В Лондоне 1665 года такая граница прошла по тысячам порогов. Дом перестал быть безусловным убежищем от внешнего мира. Он получил знак, сторожа и срок, а вместе с ними — новое место в городском учёте.

Но закрытый дом не был автономным. Кто-то должен был принести еду, осмотреть умершего, записать причину и вынести тело. За заметной дверью начиналась менее заметная история труда. Следующая глава проследит один из самых тяжёлых её маршрутов: от комнаты умершего через руки осмотрщицы и могильщика к приходской строке, из которой потом складывается наше знание о Великой чуме.

Глава 4. Кто выносит умерших

В четверг лондонец мог развернуть печатный лист и увидеть, сколько людей похоронили за неделю в каждом приходе, сколько смертей отнесли к чуме и сколько — к другим причинам. Строки выглядели уверенно: название прихода, число погребений, итог. Особенно страшными они стали летом и осенью 1665 года, когда недельные суммы росли быстрее, чем привычный город успевал осмыслить бедствие. Но печатный итог не возникал в типографии сам собой. До него были комната, тело, разговор с родственниками, осмотр, решение о причине смерти, могила, приходская запись и передача сведений дальше.

Эту цепочку легко потерять, потому что сохранившийся бюллетень выглядит как готовая статистика. Современный читатель привык считать число нейтральным результатом измерения. В Лондоне XVII века число было итогом множества человеческих действий, причём значительную часть самой опасной работы выполняли люди с низким положением и слабым голосом в документах. Среди них были женщины-осмотрщицы умерших, приходские служители, пономари, носильщики и могильщики. Они не просто обслуживали учёт. Их решения определяли, что город узнает о себе.

Начнём с момента, когда смерть становилась известна за пределами дома. В своём разборе бюллетеней Джон Граунт

писал, что о смерти узнавали по звону колокола или по заказу могилы у приходского служителя. Тогда к умершему приходили осмотрщицы. Это описание появилось в 1662 году, за три года до Великой чумы, и важно именно как свидетельство обычного порядка, а не как поздняя картинка бедствия. Эпидемия не создала цепь с нуля. Она перегрузила уже существовавший приходской механизм.

Городские приказы 1665 года требовали назначить в каждом приходе женщин-осмотрщиц и обязывали их сообщать, умер ли человек от инфекции или от другой причины. Им запрещали после опасной работы свободно заниматься иными ремёслами и общаться с людьми. Правило исходило из тогдашнего представления о заразе и одновременно показывало общественное отношение к работнице: городу нужны были её глаза и руки, но сам её труд делал её подозрительной для окружающих.

Осмотрщица не была врачом в современном смысле. Обычно речь шла о женщине, связанной с приходской системой помощи и зависевшей от небольших выплат. Историк Ришель Мункхофф показала, что привычная карикатура на невежественную старуху скрывает более сложное положение. Эти женщины были бедны и подвергались опасности, но при этом получали власть назвать причину смерти соседа. Их нельзя представить ни квалифицированной медицинской службой, ни случайными прохожими. Это была местная должность на границе заботы, принуждения и учёта.

Как мог проходить осмотр, известно хуже, чем хотелось бы. Нормативный текст говорит, что следовало сделать, приходские записи иногда показывают плату или назначение, а печатный бюллетень сохраняет результат. Между ними остаётся тишина комнаты. Мы редко слышим точные слова родственника и осмотрщицы, не всегда знаем, насколько тщательно было осмотрено тело и на каких признаках строилось решение. Поэтому нельзя превращать общий порядок в вымышленную сцену с достоверным диалогом. Можно восстановить обязанности и интересы участников, но не их мысли.

У родственников были причины не желать записи о чуме. Такое определение могло привести к закрытию дома, появлению красного креста, надзору и потере заработка здоровыми жильцами. У прихода, напротив, была обязанность обнаруживать инфекцию, но вместе с ней возникали расходы на сторожей, помощь бедным и погребение. У осмотрщицы имелись и ответственность перед должностными лицами, и зависимость от тех, в чей дом она входила. Уже на этом первом шаге число оказывалось не только медицинским суждением, но и узлом хозяйственных последствий.

Это не означает, что всякий диагноз покупали или скрывали. Соблазнительная история о повсеместном подкупе объясняет слишком многое одной причиной и потому почти ничего. Ошибка могла возникнуть из-за неоднозначных признаков, быстрого течения болезни, недостатка времени, усталости, страха, давления семьи или местного обы-

чая. Иногда причина смерти могла быть очевидной участникам, иногда — спорной. Историк обязан различать доказанный случай обмана, современную критику системы и собственное предположение.

После осмотра сведения должны были пройти через приход. Компания приходских клерков собирала недельные данные и выпускала общий лист. На одной стороне печатались погребения по приходам, на другой — причины смерти. Такой лист соединял два разных способа видеть город. Приходская часть отвечала на вопрос «где», а перечень причин — на вопрос «от чего». Для чумы пространственное распределение было особенно важно: читатель мог искать поражённые места и соотносить общий итог со своим районом.

Слово «погребения» здесь не мелочь. Бюллетень прежде всего опирался на приходской учёт похорон, а не на все смерти людей, находившихся в пределах воображаемой современной городской черты. Человек мог умереть и быть погребён вне охваченной системы. Кто-то принадлежал к общине, устроенной иначе. Границы охвата менялись вместе с ростом предместий. Поэтому итог нельзя без оговорок считать полным числом всех жителей, умерших в современно определённом Лондоне.

Сами приходы тоже были не одинаковы. Одни находились внутри городских стен, другие — снаружи, третьи лежали в расширявшемся пространстве между Сити, Вестминстером и соседними территориями. Печатный лист делал их строка-

ми одного перечня, но за строками стояли разные плотность жилья, богатство, подвижность населения и способность вести записи во время кризиса. Сравнить два числа недостаточно: нужно проверить, одинаково ли считали и одинаковы ли границы.

В 1665 году Компания приходских клерков издала сборник недельных бюллетеней под названием «Ужасное посещение Лондона». Он охватывал недели от конца декабря 1664 года до декабря следующего года и завершался общим годовым итогом. Для историка это не прозрачное окно, а сохранившийся продукт учреждения. Его огромная ценность именно в регулярности: один и тот же город снова и снова пересчитывал погребения и причины, позволяя увидеть не отдельную страшную неделю, а движение эпидемии во времени.

Регулярность меняла повседневность. Эпидемия получала недельный ритм. Люди ждали нового листа, сравнивали его с прежним, обсуждали рост и спад, решали, опасен ли путь через определённый район. Джон Белл в издании 1665 года объяснял пользу бюллетеня тем, что он даёт общее известие о чуме и сообщает, какие места поражены, чтобы их можно было избегать. Даже если человек не покупал лист сам, числа переходили в разговоры, письма, проповеди и дневники.

Появилась особая городская неделя: не от воскресной службы до следующей, не от рыночного дня до рыночного

дня, а от одного счёта смертей до другого. Число могло подтвердить слух или опровергнуть его, но могло и усилить тревогу. Если итог снижался, жители спрашивали, настоящий ли это спад. Если росли другие причины смерти, возникало подозрение, что чуму записывают под иными названиями. Публика не просто получала сведения; она училась спорить о способе их производства.

За аккуратным листом стоял тяжёлый физический труд. Умершего надо было вынести из тесной комнаты, спустить по лестнице, доставить к месту погребения и предать земле. Во время обычной смертности этот труд был частью приходской и ремесленной жизни. Во время большой вспышки он становился непрерывным, опасным и заметным. Требовались люди, повозки, лошади, доски, саваны, инструменты и земля. Требовалось также время, которого при быстром росте числа умерших постоянно не хватало.

Образ ночной телеги, собирающей тела, известен прежде всего по позднейшей литературе и повторяемым рассказам. Он основан на реальной организации вывоза и ночных погребений, но легко превращается в театральный символ, заслоняющий работу. Телега не двигалась сама. Кто-то принимал сообщение, составлял маршрут, входил в дом, поднимал тело, успокаивал или торопил родственников, следил за животным, разгружал и копал. Если оставить только крик возницы и груду тел, люди становятся декорацией собственного труда.

Городские приказы предписывали совершать погребения в определённые часы и ограничивали присутствие соседей и друзей. Смысл был в уменьшении собраний и контактов, но для семьи это меняло сам ритуал прощания. Похороны становились не только религиозным и семейным событием, но и санитарно управляемой процедурой. Там, где прежде ожидалось сопровождающие, оставалось малое число допущенных людей. Время определялось не удобством скорбящих, а режимом города.

Такое правило распределяло утрату неравномерно. Состоятельная семья могла заранее располагать связями, деньгами и местом в приходской иерархии. Бедная зависела от общего сбора, доступности носильщиков и способности прихода оплатить необходимое. Но во время пика даже деньги не отменяли перегрузки. Смерть становилась массовой, а привычный знак уважения — индивидуальная церемония — сталкивался с нехваткой людей и времени.

Не следует, однако, представлять Лондон единой ямой и полностью исчезнувшим порядком. Даже в кризис сохранялись приходские различия, семейные усилия и попытки соблюсти ритуал. Массовые захоронения существовали, однако выражение «чумная яма» в популярном рассказе часто служит универсальной картинкой без точного адреса и документа. Для каждого утверждения нужно спросить: о каком месте, какой неделе и каком источнике идёт речь? Археологическое обнаружение участка, приходской платёж землеко-

пам и сцена у Дефо — разные виды свидетельств.

Могильщик и носильщик оказывались между необходимостью и отвращением. Город зависел от них и одновременно связывал их с заразой. Плата могла расти, работников могли подозревать в наживе, грубости или воровстве. Некоторые обвинения подтверждались отдельными делами, другие выражали страх перед людьми, которые входили туда, откуда остальные старались уйти. Опасная профессия почти неизбежно получала дурную репутацию, потому что общество хотело и воспользоваться ею, и отдалить её от себя.

Женщина-осмотрщица находилась в похожем противоречии. Ей доверяли назвать болезнь, но образованная публика могла презирать её знание. Её посылали к телу, а затем ограничивали её общение как потенциально опасное. Она принадлежала приходу, но оставалась на его краю. Если данные казались неверными, удобной мишенью становилась именно она, хотя цепь включала родственников, приходских начальников, клерков, печатников и государственные требования.

В 1662 году Джон Граунт использовал многолетние бюллетени, чтобы рассуждать о населении и болезнях. Он сравнивал причины смерти, искал устойчивые соотношения и замечал странности классификации. Его работа важна не потому, что внезапно превратила несовершенные записи в современную статистику. Она показывает новый способ чтения: отдельный недельный лист можно было включить в длинный ряд и спрашивать не только, что произошло сейчас, но и что

обычно происходит в городе.

Граунт одновременно зависел от труда осмотриц и сомневался в нём. Эта двойственность пережила столетия. Пользователь данных хочет получить чистую цифру и потому склонен считать человека, создавшего запись, источником помехи. Но без этого человека цифры вообще не было бы. Ошибка не приходит в готовый набор извне; она рождается внутри той же системы, которая производит знание.

Поэтому вопрос «насколько точны бюллетени?» нельзя закрыть одним процентом. Надо разделить несколько вопросов. Полон ли охват территории? Все ли смерти приводили к учтённому погребению? Верно ли указана причина? Одинаково ли применяли название болезни по приходам и неделям? Не нарушилась ли передача сведений на пике эпидемии? Можно доверять общему направлению ряда и при этом осторожно относиться к отдельной причине смерти.

Годовой сборник за 1665 год сообщает 97 306 погребений и 68 596 смертей, отнесённых к чуме. Эти числа часто повторяют как окончательный счёт Великой чумы. Они лучше всего описываются иначе: это официальный итог в границах и категориях лондонских бюллетеней. Он чрезвычайно важен, но не равен автоматически всем фактическим смертям во всём разросшемся городе. Уже современники и позднейшие исследователи подозревали недоучёт, однако оценка его размера зависит от метода и не должна подменять сохранившийся счёт догадкой.

Разница между официальным итогом и реальной смертностью не делает документ бесполезным. Напротив, она задаёт более точные вопросы. Если чуму скрывали под другими названиями, изменяется ли одновременно число всех погребений? Если один приход внезапно показывает спад, совпадает ли он с соседними? Если люди уезжают, как это влияет на население, подверженное риску? Чем внимательнее исследователь относится к ограничениям, тем больше, а не меньше он может извлечь из ряда.

Бюллетень менял и управление. Правители получали регулярную картину, по которой можно было судить о распространении бедствия. При этом опубликованные числа давали некоторую самостоятельность горожанам: они могли оценивать опасность не только по приказу сверху, но и по доступному счёту. Историк Кристин Хейтман показала, что ранняя публикация приходских данных соединяла власть города с практической потребностью жителей принимать решения. Такая открытость не устраняла недоверие, но делала сам спор возможным.

Цена этой открытости была скрыта внизу цепочки. Печатный лист не называл осматривающую, которая вошла в дом, и редко сохранял имя человека, вынесшего тело. Чем успешнее итог превращался в общегородское число, тем легче исчезали его создатели. Повседневное правило выглядело так: о смерти сообщают, тело осматривают, причину называют, погребение учитывают, сведения сводят и печатают. Но на

каждом глаголе стоял конкретный работник.

Эпидемия усиливала власть низовой должности, не обязательно повышая положение человека. Осмотрщица могла запустить закрытие дома, а сама оставаться зависимой от приходской выплаты. Могильщик обеспечивал выполнение важнейшей городской обязанности, но его могли избегать. Приходской клерк превращал местные сведения в строку общего счёта, однако отвечал за данные, которых не наблюдал лично. Система держалась не на одном эксперте, а на передаче доверия между людьми с разным статусом.

Именно передача создаёт предел приходского числа. На каждом шаге менялся предмет знания. Родственник знал ход болезни, но мог опасаться последствий. Осмотрщица видела тело, но не всю предшествующую историю. Приход знал о погребении, но не обо всех умерших за своей границей. Компания клерков получала суммы, но не возвращалась к каждой комнате. Печатник точно воспроизводил переданный итог, но типографская точность не могла исправить ошибку осмотра.

Это различие полезно далеко за пределами XVII века. Когда перед нами историческая таблица, хочется начать с последней строки. Лучше сначала пройти путь записи назад. Из какой процедуры возникла категория? Кто имел право её назначить? Что получал или терял человек после такого назначения? Как данные покидали местный уровень? Где проверяли сумму? Тогда цифра перестаёт быть либо абсолют-

ной истиной, либо бесполезной выдумкой. Она становится следом учреждения.

Практика чтения этой главы начинается с одного недельного бюллетеня. Выберите лист и не спешите переписывать общий итог. Сначала перечислите, какие территории он охватывает, какие приходы вынесены отдельно, где указаны погребения, где крещения и как представлены причины смерти. Обратите внимание, что чума может быть показана и по приходам, и в общем перечне причин, тогда как многие другие причины даны только общей суммой.

Затем восстановите путь одной условной записи, не придумывая человека. Смерть стала известна через сообщение о погребении или иной приходской сигнал. Осмотрщицы определили причину. Приходской служитель включил случай в местный счёт. Данные передали Компании приходских клерков. Там их свели в общий лист и отпечатали. Возле каждого шага запишите возможный вид потери: неохваченная территория, несообщённая смерть, спорная причина, ошибка сложения или печати.

После этого сопоставьте недельный лист с городским приказом. В одном документе ищите должности и обязанности, в другом — результат их работы. Если приказ требует двух осмотрщиц или особого режима для работников, не считайте это доказательством безупречного исполнения в каждом приходе. Если бюллетень показывает точное число, не считайте его доказательством точного диагноза каждого умер-

шего. Нормативный текст и статистический итог отвечают на разные вопросы.

Наконец, найдите приходской счёт, реестр или исследование, в котором видны выплаты осмотрщикам, носильщикам либо могильщикам. Спросите, менялась ли плата во время вспышки, хватало ли работников и кто замещал умерших или ушедших. Если такого материала для выбранного прихода нет, границу нужно обозначить прямо. Отсутствие записи не разрешает заполнить её яркой сценой из другого района.

Глава о числе оказывается главой о труде. Чтобы город увидел кривую эпидемии, кто-то должен был войти в комнату умершего. Чтобы появилась строка о погребении, кто-то должен был вынести тело. Чтобы отдельные строки стали общим знанием, их надо было собрать и напечатать. Бюллетень не отменял горе и не исчерпывал его, но превращал множество частных утрат в предмет городского решения.

В предыдущей главе красный крест делал заражённый дом видимым на улице. Здесь видимость получила другую форму: дом исчезал, а вместо него появлялась строка. Эта перемена давала Лондону возможность следить за бедствием неделя за неделей, но одновременно прятала лица тех, кто создавал счёт. Читать бюллетень честно — значит удерживать обе стороны: силу регулярного числа и пределы человеческой цепочки, которая его произвела.

Следующая глава выйдет из комнаты и приходской конторы на рынок. Там эпидемическое правило встретится с хле-

бом, ценой, толпой и ежедневным заработком. И снова станет ясно: ограничить контакт на бумаге проще, чем устроить жизнь людей, которым всё равно нужно есть.

Глава 5. Рынок во время мора

Представим лондонское утро летом 1665 года без привычной картинкой мёртвых телег и заколоченных дверей. Город прежде всего должен завтракать. Пекарне нужна мука, пивоварне — зерно и вода, мяснику — туши, семье — хлеб, сыр, лук, уголь. Всё это не возникает внутри дома. Продовольствие входит в столицу по реке и дорогам, проходит через пристани, склады, рынки, лавки и руки разносчиков. Если разом остановить эту цепь, мера против болезни создаст другую беду. Если оставить её без изменений, рынок будет ежедневно сводить вместе продавцов, носильщиков и покупателей.

В этом и состоит задача эпидемического города: уменьшить опасные встречи, не остановив обмен, от которого зависит жизнь. В документах она редко сформулирована столь прямо. Приказы говорят об испорченной рыбе, затхлом зерне, трактирах, бродягах и публичных пирах. Но если читать их рядом, видна попытка разделить городские контакты на необходимые и, с точки зрения властей, лишние. Еду следовало продавать. Праздник следовало отложить. Нужды запертого дома следовало доставить к двери. После девяти вечера пить в компании не полагалось. Такое разделение не было нейтральным: тот, кто владел запасом, домом или устойчивым ремеслом, переживал его иначе, чем человек, кор-

мившийся сегодняшней выручкой.

Лондонский рынок XVII века не был одним зданием с воротами, которые мэр мог закрыть на замок. Торговля занимала площади и улицы, соединяла официальные места продажи с лавками, постоянными дворами, пристанями и разносной торговлей. За предшествующее столетие население столицы резко выросло; город всё сильнее зависел от поставщиков и посредников за своими границами. Исследование городского регулирования рынков показывает, что власти задолго до чумы спорили о ценах, качестве, перекупке, уличных помехах и праве торговать в определённом месте. Эпидемия вошла не в пустое пространство, а в уже налаженную, хотя и напряжённую систему надзора.

Это уточнение защищает от удобной ошибки. Иногда каждое распоряжение 1665 года описывают как совершенно новую санитарную меру. Но запрет на негодную пищу, контроль мер и цен, ограничение беспорядка в питейных заведениях были частью обычного городского управления. Во время мора старые полномочия собрали в особый набор приказов и связали с угрозой заражения. Чрезвычайным могло стать не само правило, а его обоснование, строгость исполнения или сочетание с другими ограничениями.

В «Приказах, задуманных и опубликованных лорд-мэром и олдерменами», напечатанных в 1665 году, рынку посвящена короткая, но выразительная формула. В городе не должны были продаваться вонючая рыба, нездоровое мясо, затхлое

зерно и испорченные плоды. Следом требовалось присматривать за пивоварами и питейными домами, чтобы они не пользовались негодными бочками. Эти строки стоят в разделе об очистке улиц: рядом с ежедневным подметанием перед домом, вывозом нечистот и удалением свалок от общих проходов. Для составителей документа пища, мусор, запах и болезнь принадлежали одной картине городского порядка.

Мы сегодня можем отделить микробиологическую безопасность еды от представлений о «порче воздуха». Составители приказов такого разделения не имели. Они связывали опасность с гниением, зловонием, теснотой и нечистотой. Было бы неверно сказать, будто проверка испорченной пищи поэтому не имела пользы: тухлое мясо и плесневелое зерно не становились хорошей едой оттого, что чуму объясняли иначе. Но столь же неверно объявлять этот приказ ранней версией современной науки о заражении. Практическое действие могло быть разумным, а объясняющая его картина — другой.

Обратим внимание и на глагол. Приказ не обещает накормить всех и не устанавливает подробного плана поставок. Он требует «особой заботы», чтобы негодное не допускалось к продаже. Между печатной строкой и рыночным прилавком должны появиться исполнители: олдермен, приходской служитель, надзиратель, торговая компания, хозяин лавки. Они должны определить, что считать испорченным, заметить нарушение и добиться наказания. Документ сообщает направ-

ление контроля, но не доказывает, что каждую рыбу осмотрели и каждую бочку проверили.

Вот почему картинка полностью управляемого рынка обманчива. В обычное время надзор был выборочным. В эпидемию часть людей, способных его осуществлять, уезжала, заболела или переключалась на запертые дома и погребения. Рынок мог быть одновременно предметом усиленных приказов и местом ослабленного повседневного наблюдения. Чтобы узнать исполнение, одного печатного постановления недостаточно: нужны приходские счета, книги штрафов, переписка, дневники и жалобы.

Есть ещё одна причина не путать норму с картиной улицы. Приказы воспроизводили более ранние образцы и могли описывать желательный порядок шире, чем реальное действие в каждый день эпидемии. Сам факт повторной печати показывает, какие инструменты власть считала доступными. Он не позволяет без дополнительного свидетельства сказать, сколько продавцов наказали или насколько изменился ассортимент. Историк должен удерживать обе мысли: текст важен как действие власти, но его существование не равно послушанию всего города.

Самое резкое разделение проходит между торговлей и собранием. Те же приказы запрещали спектакли, травлю медведей, игры, пение баллад и другие занятия, собиравшие толпу. Публичные пиры городских компаний и обеды в тавернах следовало прекратить до нового разрешения. Сбере-

жённые на таких пирах деньги предписывалось направлять на помощь бедным, поражённым инфекцией. В тавернах, пивных, кофейнях и погребках нельзя было оставаться за выпивкой после девяти вечера; документ ссылался при этом на старый городской обычай.

Перед нами не современный перечень «существенных отраслей». Граница проведена нравственным и сословным языком своего времени. Пища как товар необходима. Пир как демонстрация корпорации может подождать. Выпивка после девяти названа беспорядочной. Бродячий нищий описан не человеком без безопасного места, а причиной распространения заразы. Балладник превращается из продавца новостей и развлечения в создателя толпы. В одном разделе соединяются забота о расстоянии, старое недоверие к праздности и попытка дисциплинировать бедных.

Поэтому нельзя читать запрет собраний как одинаковый для всех отказ от досуга. Для состоятельного горожанина отменённый обед мог означать потерянную церемонию и неудобство. Для хозяина таверны это была выручка. Для слуги — жалованье и чаевые. Для музыканта, актёра, продавца баллад или человека, обслуживавшего зрелище, исчезал дневной заработок. Приказ сокращал встречу, но стоимость сокращения спускалась по лестнице труда.

Даже закрытая лавка означала разные вещи. Сэмюэл Пипс в дневнике замечал пустеющие улицы, малолюдную Биржу и временно закрывающиеся лавки. Это синхронный взгляд

обеспеченного чиновника, который мог перемещать работу и семью, хранить деньги и пользоваться слугами. Он хорошо показывает изменение городской атмосферы, но не представляет всех лондонцев. Тишина, которую видит прохожий, для владельца запаса и для подёнщика имеет разный звук. Один теряет удобство выбора, другой — монету, на которую вечером покупался хлеб.

Отъезд двора, зажиточных семей и части купцов уменьшал не только число покупателей. Он обрывал множество незаметных заказов: стирку, перевозку, мелкий ремонт, приготовление пищи, уход за лошадьми, доставку топлива. Эпидемический рынок сжимался ещё до прямого запрета. Люди меняли маршрут из страха, избегали отмеченных домов и заражённых приходов, уезжали, если имели средства. Правило на бумаге действовало вместе с добровольным — или вынужденным страхом — отказом от встречи.

Особенно важно различать три причины закрытой двери. Лавку мог закрыть приказ. Её мог закрыть заболевший или уехавший хозяин. Наконец, она могла стать бессмысленной из-за исчезновения покупателей и работников. Если источник говорит, что «торговля остановилась», нужно спросить: какая торговля, где, на какой срок и по какой из этих причин? Без этого эпидемия превращается в единый выключатель, хотя город гас кварталами и ремёслами.

Продовольственная торговля полностью исчезнуть не могла. Но сохранение поставок не означает привычного до-

ступа к еде. Между мешком зерна в порту и ломтём на столе стоят цена, выпечка, перевозка и возможность покупателя выйти из дома. Запертая семья физически не могла пойти на рынок. В приказах о заражённых домах сторож должен был удерживать жильцов внутри и «снабжать необходимым»: за их деньги, если они могли платить, или за общий счёт, если не могли. Эта строка превращает караульного у двери в часть городской системы доставки.

В главе о помеченном доме мы видели сторожа как человека границы. Теперь видна его вторая роль. Он не только заперщает выход, но и переносит просьбу наружу: хлеб, воду, лекарство, топливо. Запирание возможно лишь пока кто-то связывает дом с рынком. Если связь рвётся, изоляция становится не санитарным распоряжением, а угрозой голода. Поэтому обеспечение — не милосердное добавление к ограничению, а условие его исполнения.

Фраза «за общий счёт» тоже требует развернуть свёрток. Общая касса не была бездонной. Помощь собирали и распределяли приходы; тяжело поражённый район нуждался в деньгах, людях и решениях соседей и городских властей. Королевские правила следующего, 1666 года прямо напоминали механизм: если город или деревня не способны содержать своих бедных, на соседние приходы следовало наложить сбор по закону начала правления Якова I. В этом видна административная память эпидемий. Власть понимала, что бедность делает приказ неисполнимым, и пыталась переме-

щать средства туда, где местной кассы не хватало.

Однако право на помощь не стирало унижения, задержек и различий. Нужно было признать семью неспособной платить. Кто-то оценивал её нужду. Кто-то покупал припасы, нёс их к двери и отчитывался за расходы. Каждый переход создавал возможность опоздания или злоупотребления. Приходские счета могут показать платежи; они редко передают ожидание человека за дверью. Здесь документ следует читать одновременно как обещание снабжения и как свидетельство зависимости.

Можно проверить это на простой мысленной цепочке, не выдумывая конкретную семью. Работник получает плату по дням. В доме обнаруживают болезнь, дверь закрывают. Доход прекращается сразу, а запасы — спустя несколько суток. Пока есть деньги, необходимое покупают за счёт семьи. Затем она попадает в категорию бедных и просит приход о содержании. Между этими состояниями нет аккуратной черты: имущество можно продать, долг попросить, помощь задержать. Печатный приказ видит две клетки — «может» и «не может» платить. Жизнь между ними гораздо длиннее.

Эта цепочка объясняет, почему сопротивление запиранию нельзя свести к невежеству. Человек мог бояться болезни и одновременно скрывать её, потому что знак на двери лишал дом заработка. Чем теснее доход был связан с ежедневным выходом, тем дороже становилось раннее сообщение. Власть требовала уведомить о признаках болезни в те-

чение двух часов, но экономическое устройство подталкивало к отсрочке. Снабжение должно было ослабить этот конфликт, хотя не могло полностью заменить работу и свободу движения.

Так рынок влияет даже на качество сведений об эпидемии. Если признание болезни грозит закрытием мастерской или лавки, болезнь будут замечать не только глазами врача или осмотрщицы, но и через кошелёк семьи. Отсюда важный вывод для всей истории общественного здоровья: приказ о сообщении нельзя оценивать отдельно от материальной поддержки. Чем выше цена правдивого сообщения для сообщającego, тем сильнее соблазн молчать.

Кого ещё вытесняло правило? Приказы отдельно запрещали бродячим нищим находиться на улицах, называя их одной из причин распространения инфекции. С точки зрения власти движущийся человек без постоянного надзора разрушал привязку к приходу и дому. Но для самого нищего улица была местом поиска еды и подаяния. Запрет не создавал ему частной комнаты. Он лишь объявлял привычный способ выживания незаконным. В документе хорошо видно, как санитарная тревога усиливает старую социальную подозрительность.

То же относится к разносчикам и мелким продавцам. Формальный рынок обещал наблюдаемое место и знакомых должностным лицам участников. Подвижная торговля хуже поддавалась контролю, но часто давала доступ к товару тем,

кто жил далеко от главных площадей или не держал запасов. В обычном городском регулировании подозрение падало на перекупщиков, уличных торговцев и женщин, продававших небольшие партии. В эпидемию стремление сделать обмен обозримым могло одновременно повышать управляемость и отнимать доход у тех, чья торговля не вписывалась в признанное место.

Неравенство проявлялось и в пространстве. Приказ действовал от имени города, но рынок, приход и улица не совпадали по границам. Покупатель мог жить за стеной, товар прибывал снаружи, а болезнь двигалась через соседние приходы. Лондонская агломерация уже не помещалась в старый административный контур Сити. Историк, встретив слово «Лондон», должен выяснить, идёт ли речь о корпорации внутри стен, приходах в недельных бюллетенях или более широкой застройке. Иначе правило одной власти будет ошибочно распространено на всех жителей столицы.

Документы 1665 года показывают также, что власти регулировали не только количество встреч, но и их качество. Запрещалась продажа старой одежды и постелей из заражённых домов; торговцам подержанными вещами не позволяли выставлять их наружу, а покупка имущества из заражённого дома грозила закрытием дома покупателя. Это уже рынок не пищи, а вещей, однако логика та же: товар несёт с собой историю прежнего дома. Человек мог не встретить больного, но купить его постель.

Такой запрет бил по особой экономике бедности. Подержанная одежда и заложенные вещи были способом получить наличные и купить необходимое дешевле нового. Когда эта циркуляция объявлялась опасной, обеспеченная семья могла дольше пользоваться собственным запасом или купить новое. Бедная теряла и покупателя на свои вещи, и доступный источник замены. Санитарное правило имело материально разумную для эпохи цель, но его тяжесть распределялась неравно.

Здесь полезно остановиться у слова «рынок». Это не только место, где лежит хлеб. Это способ превращать имущество, труд и доверие в возможность прожить следующий день. Запретить толпу на площади — значит изменить движение тел. Запретить продажу постели — изменить движение вещей и денег. Закрыть таверну вечером — изменить заработок целой группы работников. Назначить помощь запертому дому — создать новый поток от общей кассы к двери. Эпидемическое управление не исключает рынок; оно перестраивает его каналы.

Не следует, однако, делать обратную романтическую ошибку и представлять рынок саморегулирующейся силой, которую власть только портила. Большой город зависел от устойчивого подвоза. Испорченный товар, резкий рост нужды или исчезновение покупателей могли породить опасность без всякого запрета. Муниципальная власть пыталась удерживать поставки, качество и общественный порядок сразу. Во-

прос не в том, следовало ли ей «вмешиваться», а в том, какие обмены она поддерживала, какие прекращала и кому возмещала потерю.

Показателен приказ о публичных пирах. Деньги, которые городские компании не тратили на обеды, предполагалось сохранить для помощи бедным, поражённым инфекцией. Это не просто экономия. Ритуал статуса переводился в фонд поддержки: меньше совместной еды для членов корпорации, больше необходимых припасов для запертых. По крайней мере так выглядела норма. Чтобы доказать реальный перевод денег, потребуются счета конкретной компании или прихода. Сам приказ свидетельствует о политическом выборе, но ещё не о сумме помощи.

Так же осторожно нужно обращаться с поздними красочными рассказами о бесконтактной торговле, монетах в укусе или товарах, оставленных на расстоянии. Подобные сцены легко становятся символом всей эпидемии. Некоторые могли иметь основание в практиках эпохи, но повторение в популярной литературе не заменяет датированный местный документ. Нельзя по одному анекдоту восстанавливать работу всех рынков Лондона. Чем нагляднее деталь, тем важнее спросить, откуда она взялась.

Надёжнее начать с того, что подтверждено приказом: продажу еды не запретили; испорченные продукты велели изымать из продажи; публичные увеселения и пиры запрещали; время пребывания в питейных заведениях ограничивали; за-

пертым домам полагалось доставлять необходимое; бедным обещали содержание за общий счёт. Затем можно добавить синхронные наблюдения Пипса о пустых улицах, закрывающихся лавках и малолюдной Бирже. Получается не киношная сцена, а многослойная картина: нормативный рынок должен работать, фактическая торговля сжимается, а доступ к ней всё сильнее зависит от денег и посредника.

Из этой картины вырастает неудобный вопрос: кого именно защищает ограничение? Запрет большого пира уменьшает собрание и одновременно освобождает средства для помощи — здесь ответ относительно ясен. Запрет нищему находиться на улице может уменьшить перемещения, но без надёжного приюта и пищи просто перемещает беду. Закрывание заражённой лавки защищает покупателей, но оставляет работников без заработка. Хороший исторический разбор не требует объявлять меру либо гуманной, либо жестокой целиком. Он показывает несколько последствий одновременно.

Есть и вопрос о времени. Ограничение, терпимое несколько дней, разрушает ремесло за несколько недель. Приказы часто оставляют конец открытым: пиры прекращаются «до дальнейшего распоряжения». Для человека с запасом неопределённость неприятна. Для человека без запаса она меняет каждое решение сегодня. Продать ли инструмент? Уйти ли из города? Скрыть ли болезнь? Взять ли опасную работу сторожа или могильщика? Продолжительность эпидемии превращает временное правило в экономическую

развилку.

Поэтому недельный бюллетень смертности, о котором говорилось в прошлой главе, был ещё и рыночным сигналом. Читатель видел рост или спад погребений и решал, открывать ли лавку, ехать ли в город, нанимать ли работника, возвращаться ли семье. Цифры не просто описывали смерть. Они меняли ожидания, а через них — движение товара и людей. Даже несовершенный счёт становился частью поведения.

Связь работала в обе стороны. Пустеющая улица давала впечатление опасности ещё до чтения бюллетеня. Закрытые лавки усиливали ощущение остановки. Слухи о заражённом рынке могли изменить маршрут покупателей. Власть отвечала печатным приказом, но не контролировала все разговоры. Эпидемический рынок был рынком информации: покупатель оценивал не только цену хлеба, но и опасность пути к нему.

Что из правил 1665 года пережило саму вспышку? Не конкретный запрет баллад или пир после девяти. Важнее способ рассуждения: разделить встречи по необходимости, удерживать снабжение, связать ограничение с помощью, наблюдать за качеством товара и назначить исполнителя. Эти элементы будут возвращаться в разных формах. Но и их тёмная сторона переживёт эпоху: склонность объявлять подвижного бедняка источником опасности и требовать от человека послушания прежде, чем обеспечить возможность послушаться.

Практика чтения для этой главы начинается с одного вопроса: кого правило лишало заработка? Возьмите любой запрет из эпидемического документа и пройдите пять шагов.

Первое. Назовите не только запрещённое действие, но и всех, кто на нём зарабатывал. У публичного обеда есть хозяин заведения, повар, слуга, поставщик, возчик и музыкант.

Второе. Отделите прямой приказ от добровольного сокращения спроса. Лавка могла закрыться без отдельного запрета, потому что уехали покупатели или заболел хозяин.

Третье. Найдите компенсацию или снабжение. Формула о помощи бедным важна, но спросите, из какой кассы шли деньги, кто признавал нужду и сколько времени занимала доставка.

Четвёртое. Проверьте границы власти. Кто издал приказ, на какой территории и какие соседние районы жили по другим распоряжениям?

Пятое. Ищите след исполнения: счёт, штраф, платёж сторожу, закупку хлеба, жалобу торговца, запись о закрытой лавке. Печатная норма сообщает намерение; расход или конфликт показывает, что она встретила жизнь.

После такой проверки рынок во время мора перестаёт быть пустой декорацией. Он оказывается местом, где власть ежедневно решает, какой контакт считать необходимым, кому разрешить движение и кто оплатит неподвижность. В следующей главе этот вопрос выйдет за городскую стену. Портовый лазарет станет воротами, через которые будут отдель-

но пропускать человека, письмо, тюк ткани и судно, а право на движение всё чаще потребует документа.

Глава 6. Лазарет становится воротами

Корабль виден с берега, но ещё не принадлежит порту. У него есть название, капитан, команда, пассажиры, тюки и письма, однако право приблизиться к причалу не возникает само собой. Сначала нужно сообщить, откуда судно пришло, где останавливалось, не было ли болезни и смерти в пути. Нужно предъявить бумагу о состоянии места отправления. Иногда приходится ждать на рейде, иногда — выгрузить часть товаров в отдельное здание, иногда — провести дни или недели на острове. Только затем открываются городские ворота.

Так выглядит карантин не как неподвижность, а как управляемый допуск. В главе о Рагузе мы остановились у решения 1377 года: прибывающим из поражённых мест предписывали месяц ожидания вне города. Но временное ожидание на острове или в отдельном месте ещё не образует сложной системы. Для системы нужны постоянные помещения, служащие, записи, способы разделить людей и вещи, а также признанные другими портами документы. Лазарет появился там, где разовая задержка превратилась в повседневную работу порта.

Слово легко вводит в заблуждение. Сегодня «лазарет» ча-

сто означает военный или временный госпиталь. В раннем Новом времени средиземноморский лазарет мог соединять больницу, карантинную станцию, склад и пограничную канцелярию. Там держали не только явно больных. Через него проходили здоровые путешественники, матросы, купцы и товары, прибывшие из места, которому не доверяли. Его задача состояла не просто в лечении, а в том, чтобы отсрочить и рассортировать движение.

Венеция особенно ясно показывает превращение изоляции в учреждение. В 1423 году республика отвела остров Санта-Мария-ди-Назарет под постоянное место для людей, связанных с чумой; позднее его стали называть Лазаретто Веккьо, Старым лазаретом. В 1468 году появился Лазаретто Нуово, Новый лазарет, который связывают прежде всего с карантином прибывающих и обработкой товаров. Эти даты не означают, что за одно заседание была придумана полностью готовая модель. Здания менялись, обязанности уточнялись, а разделение функций складывалось постепенно.

Постоянство изменило сам смысл границы. Пока мера существует только во время объявленной беды, порт то открыт, то закрыт. Постоянный лазарет позволяет принимать подозрительное судно, не впуская его сразу в город и не отказываясь от торговли навсегда. Между «да» и «нет» появляется третье состояние — «после проверки и ожидания». Для купца это задержка и расход. Для властей — способ не выбирать каждый раз между полной свободой и полной остановкой.

Торговая республика не могла считать любое прибытие одинаковым. Слишком строгий запрет отдавал товар соперничающему порту. Слишком слабый надзор грозил эпидемией, которая закрывала торговлю гораздо надолго. Поэтому лазарет был не противоположностью коммерции, а одной из её инфраструктур. Он делал опасный обмен условно возможным. Цена допуска выражалась во времени, плате за помещение и надзор, труде по распаковке, риске повреждения груза и неопределённости решения.

Здесь важно не приписывать старому учреждению современные знания. Власти ещё не располагали микробной теорией. Они могли считать опасными воздух, соприкосновение, следы болезни в ткани и множество вещей, которые сегодня оценили бы иначе. Но административная задача от этого не становилась мнимой. Им требовалось решить, как действовать при неполном знании и тяжёлой цене ошибки. Ответом была комбинация расстояния, времени, наблюдения, проветривания, окулирования и документа.

Архитектура помогала выполнять правило. Остров отделял прибывших водой. Стены и ворота ограничивали выход. Склады позволяли разложить товар. Открытые галереи и помещения для проветривания превращали представление об очищении вещей в последовательность операций. Жилые комнаты отделяли группы друг от друга. Канцелярия связывала место с решениями санитарных магистратов. Здание было не оболочкой для приказа, а частью самого приказа.

Поэтому рисунок лазарета нужно читать как схему движения. Где причаливал подозрительный корабль? Кто первым разговаривал с капитаном? По какому пути шёл пассажир? Где оставляли багаж? Могли ли две группы встретиться у колодца, в часовне или на складе? Как служащий передавал записку, не смешивая разделённые стороны? План отвечает не только на вопрос «где жили», но и на вопрос «как власть представляла безопасное перемещение».

Разделяли не только больного и здорового. Значение имели порт отправления, маршрут, известия о болезнях, происшествия в пути, вид груза и доверие к документу. Один корабль мог получить более благоприятную оценку, другой — подозрительную. Людей, судно и товары могли задерживать на разные сроки. Это уже не единый карантинный таймер, а разветвлённая процедура.

Особое место занимали товары, которые считались способными удерживать заразу. Ткань, шерсть, одежда и другие пористые материалы вызывали больше тревоги, чем предметы, воспринимавшиеся как менее опасные. Их распаковывали, раскладывали, переворачивали, проветривали или окуривали. Такие действия основывались на представлениях эпохи о заразном начале и не совпадают с современной обработкой. Но они показывают важный сдвиг: вещь получила собственную санитарную биографию.

Раньше рассказ о карантине легко сосредоточивался на теле путешественника. Лазарет заставляет увидеть тюк то-

вара как отдельного участника процедуры. Купец мог быть здоров, команда — не иметь видимых признаков болезни, а груз всё равно задерживали. Вещь прибывала из определённого места, путешествовала по определённому маршруту, соприкасалась с людьми и другими вещами. Её допуск зависел не только от владельца.

Обработка груза требовала труда. Кто-то вскрывал тюки, переносил их, развешивал ткань и следил за сроком. Этот человек оказывался между внешним миром и городом, как сторож у чумного дома. Его работа делала границу действующей. Официальное описание процедуры может назвать должность и плату, но хуже передаёт жар склада, пыль волокон, тяжесть кипы и страх перед предметом, признанным подозрительным. История учреждения неполна без истории этих рук.

Труд создавал и риск мошенничества. Чем дороже задержка, тем сильнее соблазн неверно назвать порт отправления, скрыть смерть в пути, перегрузить товар или подкупить служащего. В ответ росли записи, клятвы, проверки и наказания. Но увеличение числа бумаг не устраняло обман автоматически. Оно создавало след, по которому спор можно было расследовать.

Главной такой бумагой стало свидетельство о здоровье, по-английски *bill of health*, а в разных средиземноморских канцеляриях — документы с местными названиями. Порт отправления удостоверял санитарное состояние места и ино-

гда судна; порт прибытия решал, насколько этому свидетельству доверять. Документ не доказывал здоровье каждого человека в современном смысле. Он сообщал официальную оценку происхождения и позволял встроить корабль в категорию риска.

Здесь возникла важная перемена повседневности. Путешественнику и купцу было недостаточно фактически чувствовать себя здоровыми. Нужно было иметь приемлемую историю на бумаге. Отсутствие документа, сомнение в печати или тревожная новость о соседнем городе могли изменить срок ожидания. Право на движение всё чаще зависело от связки тела, маршрута и записи.

Бумага двигалась быстрее корабля — или, по крайней мере, могла встретить его в другом порту в виде письма и слуха. Санитарные управления собирали известия о вспышках, сравнивали географические названия, отмечали подозрительные районы. Чистое свидетельство из порта, которому больше не доверяли, теряло силу. Поэтому документ работал не один. Его смысл зависел от сети корреспонденции и политической репутации выдавшей власти.

Слово «чистый» в таком документе не следует понимать как вечный и бесспорный факт. Оно означало категорию, присвоенную в конкретный момент. Между выдачей бумаги и прибытием могли появиться новые известия или болезнь на борту. Капитана опрашивали о стоянках, людях и событиях пути именно потому, что порт происхождения не описы-

вал всего путешествия. Санитарная история судна продолжалась после печати.

Категории здоровья стали языком торговли и дипломатии. Если порт объявляли заражённым, его суда теряли время, а товары дорожали. У города появлялся мотив скрывать вспышку, чтобы сохранить обмен. У соперника — мотив преувеличить угрозу. Санитарное решение могло опираться на страх болезни и одновременно служить экономическому давлению. Это не значит, что всякий карантин был предложением. Это значит, что здоровье, торговля и политика никогда не расходились по отдельным комнатам.

Рагуза даёт особенно полезный пример такого переплетения. Город жил на пути между Балканами, Адриатикой и Средиземноморьем. После решения 1377 года он не остановился на одном сроке ожидания. Исследование Златы Блажины Томич и Весны Блажины показывает становление постоянного санитарного управления: к 1390 году засвидетельствован постоянный орган, а в следующие поколения правила, должности и места карантина усложнялись. Новшеством была не магическая цифра дней, а способность городской власти вести эту работу снова и снова.

Слово «постоянный» относится здесь к учреждению, а не к неизменности его решений. Состав должностных лиц, места размещения и конкретные меры менялись. Эпидемия заставляла расширять возможности; война и безопасность могли заставить перенести карантин ближе к защищённой

территории; рост торговли требовал иных складов. Учреждение выживало именно потому, что приспособлялось.

Сравнение Рагузы и Венеции опасно превращать в соревнование за единственное «первое место». Рагузское решение 1377 года имеет особое значение в истории законодательства о карантине. Венецианский остров 1423 года обычно называют первым постоянным чумным госпиталем такого рода. Это разные утверждения: о правиле ожидания и о постоянном учреждении. Если слить их, спор о первенстве заменит понимание процесса.

Полезнее увидеть последовательность задач. Сначала власти выбирают место вне плотной застройки. Затем назначают срок и надзор. Потом появляются постоянные служащие и помещения. Далее процедуры различают больных, подозрительных и прибывших без признаков болезни; людей, судно и груз; более и менее тревожные места происхождения. Наконец, порты обмениваются документами и известиями. Ни один шаг не отменяет предыдущий, но каждый делает границу подробнее.

Подробность не обязательно означает справедливость. Купец с дорогим грузом мог оплатить сборы, склад и задержку, хотя и спорил с ними. Бедный пассажир зависел от условий помещения и решений служащих. Матрос не выбирал маршрут судна, но разделял его санитарную репутацию. Житель территории, объявленной опасной, становился подозрительным до личного осмотра. Категория порта переносилась

на человека.

Так география превращалась в социальное свойство. Происхождение отвечало за тебя прежде, чем ты успевал ответить сам. В XVIII и XIX веках эта логика станет ещё сложнее и жёстче: санитарные власти будут пользоваться картами, перечнями портов и несколькими видами свидетельств. Но основание заметно уже раньше. Граница спрашивает не только «как вы себя чувствуете?», а «откуда вы и через какие места прошли?»

Лазарет создавал особое время. В городе жизнь продолжалась по календарю торговли, судов и праздников. Внутри карантина день становился единицей допуска. Срок могли начать отсчитывать заново после болезни или нарушения. Прибытие ещё не было прибытием: человек находился рядом с целью путешествия, видел берег, но юридически оставался снаружи. Такое ожидание влияло на письма, сделки, продукты и отношения между людьми.

Для товара время тоже имело цену. Сезонный продукт мог испортиться. Цена на рынке могла упасть. Покупатель мог отказаться. Судно и команда продолжали требовать содержания. Поэтому спор о длительности карантина был не отвлечённым медицинским спором, а спором о распределении убытка. Кто платит за предосторожность — владелец груза, перевозчик, пассажир или город?

Сборы придавали процедуре вид услуги, но не делали её добровольной. Путешественник платил за надзор, жильё,

хранение или обработку, потому что без них не получал допуска. Для санитарной администрации эти деньги поддерживали учреждение. Для купца они были частью стоимости маршрута. Так карантин входил в бухгалтерию торговли: его можно было предвидеть, включить в цену, попытаться сократить или обойти.

Предсказуемость была одним из достоинств постоянной системы. Купцу легче иметь дело с известным сроком и процедурой, чем с внезапным полным запретом. Но известное правило могло применяться неодинаково. Новость о вспышке, политическое недоверие или нарушение на борту меняли решение. Лазарет уменьшал произвол только в той мере, в какой категории, записи и возможность обжалования действительно связывали чиновника.

В этом смысле санитарный документ имел двойную природу. Он ограничивал движение, потому что без него могли не впустить. И он открывал путь, потому что с признанной бумагой судно получало более понятную процедуру. Позднейшие паспорта здоровья унаследуют эту двойственность. Документ — одновременно препятствие и ключ.

Нельзя забывать и о письмах. Бумажная корреспонденция была необходима торговле и управлению, но сама вещь могла считаться подозрительной. В разных местах письма раскрывали, прокалывали, окуривали или передавали через особые процедуры. Конкретный способ и дата требуют отдельного источника: нельзя переносить позднюю технику на

Венецию XV века. Важен общий принцип — сообщение должно пройти границу так, чтобы его содержание двигалось быстрее предполагаемой заразы.

Этот принцип объясняет, почему лазарет был воротами, а не просто тюрьмой на острове. Ворота по определению предназначены и для остановки, и для пропуска. Через них после сортировки проходили зерно, ткань, письма, моряки и новости. Учреждение существовало потому, что город хотел продолжать обмен. Если бы целью было лишь исключение всего внешнего, хватило бы закрытого порта.

Но метафора ворот не должна скрывать принуждение. Человек не мог свободно решить, когда испытание окончено. Его пространство, вещи и время контролировали служащие. Болезнь другого пассажира могла продлить ожидание всей группы. Товар вскрывали и перемещали без обычной власти владельца. С точки зрения города это была защита; с точки зрения задержанного — зависимость от чужого решения. Обе перспективы принадлежат истории.

Как проверить, что лазарет действительно работал, а не существовал на плане? Нужны журналы прибытия, книги расходов, списки служащих, распоряжения о конкретных судах, счета за обработку груза, жалобы купцов и следы ремонтов. Археология добавляет устройство складов, помещений и причалов. Если сопоставить эти источники, видно расхождение между проектом и нагрузкой: сколько людей предполагалось разместить и сколько прибыло, какие правила были

записаны и где физически не хватало места.

Особенно осторожно следует читать описания «дезинфекции». Современное слово обещает известный возбудитель и проверенную эффективность метода. Исторический работник мог проветривать и окуривать товар в рамках другой теории. Лучше сначала назвать действие: тюки раскрывали, вещи развешивали, воздух и дым считали очищающими. Затем объяснить цель, которую видели современники. Только после этого обсуждать возможный результат, если для него есть исследование.

Такая точность мешает удобной легенде о прямой дороге к современной границе. Лазарет был административно изобретен, но его категории могли быть ошибочными, дискриминационными или слишком дорогими. Он сохранял торговлю и одновременно закреплял подозрение к определённым берегам и народам. Он создавал записи и одновременно давал власти возможность глубоко вмешиваться в жизнь путешественника. История общественного здоровья почти всегда содержит эти две стороны.

Практика этой главы — проследить отдельно путь человека и путь вещи. Возьмите запись о прибытии судна, карантинное правило или описание лазарета и нарисуйте словами две цепочки.

Для человека: место отправления; промежуточные стоянки; опрос капитана; предъявленный документ; место ожидания; наблюдавший служащий; событие, после которого раз-

решён вход.

Для вещи: владелец; упаковка; порт происхождения; выгрузка; категория опасности; способ обработки; срок хранения; разрешение на продажу.

Затем задайте четыре вопроса. Совпадали ли сроки для тела и груза? Кто оплачивал каждый день задержки? Какое нарушение начинало срок заново? Какой документ доказывает не только существование правила, но и его исполнение именно для этого судна?

Если цепочки не удаётся восстановить, не заполняйте пробел привычной картинкой карантина. Отметьте, что известно: например, решение о строительстве, но не распорядок; категория товара, но не фактическая обработка; чистое свидетельство, но не доверие к нему в порту прибытия. Пробел — это свойство источника, а не приглашение к красивой догадке.

Лазарет изменил повседневность моряка и купца потому, что сделал ожидание планируемой частью пути. Остров, склад, служащий и печать превратили страх перед прибытием в повторяемую процедуру. Следующая глава покажет другой способ управлять риском — не задерживать пришедшего извне, а намеренно внести материал болезни в тело здорового человека. В споре о вариоляции главным станет вопрос, какой риск люди соглашались принять вместо гораздо большего риска натуральной оспы.

Глава 7. Риск вариоляции

Осенью в османском городе собирались несколько семей. Ребёнок или молодой человек, ещё не перенёсший натуральную оспу, получал через небольшие повреждения кожи материал из оспенных пустул. После этого семья ждала болезни. Нам сегодня трудно удержать в уме смысл такого решения: здорового намеренно подвергали заражению, потому что стихийная встреча с оспой казалась ещё опаснее. Вариоляция не устраняла риск. Она предлагала выбрать время, исполнителя и способ встречи с ним.

Слово «вариоляция» появилось позже и помогает отличить эту практику от вакцинации, о которой пойдёт речь в следующей главе. В начале XVIII века англоязычные наблюдатели чаще говорили об *inoculation* — прививании или внесении — и сравнивали действие с прививкой ветви к растению. Леди Мэри Уортли Монтегю называла увиденное в Османской империи «*engrafting*», то есть прививанием. Важно не смешивать термины. При вариоляции использовали материал натуральной оспы, и заболевший мог тяжело перенести инфекцию и передать её другим. При позднейшей вакцинации Дженнера применялся иной материал. Сходная цель не делала процедуры одинаковыми.

Практики намеренного заражения оспой существовали в разных формах в Азии и Африке задолго до того, как стали

предметом обсуждения в Лондоне. Их происхождение нельзя честно свести к одной дате, одному изобретателю или прямой дороге из одной страны в другую. Источники не дают единой родословной. Они показывают несколько способов работы с оспенным материалом, разные местные знания и разные каналы передачи сведений. Поэтому фраза «Европа изобрела прививку в XVIII веке» не просто груба: она стирает людей, чью практику европейские врачи сначала наблюдали, переводили на свой язык и лишь затем объявляли предметом учёного спора.

Один из таких переводов выполнил Эмануэль Тимони, врач, работавший в Константинополе. Его сообщение, датированное декабрём 1713 года, Джон Вудворд представил Королевскому обществу 27 мая 1714 года. Затем текст появился в «Философских трудах» общества. Уже устройство этой цепочки многое говорит о том, как местное умение становилось признанным знанием. Процедуру выполняли не члены лондонского общества. Но именно письмо врача, чтение на заседании, печатная публикация и имя посредника делали её видимой для определённой европейской аудитории.

Тимони сообщал, что практика применялась в Константинополе не первый год. Он связывал её с черкесами, грузинами и другими выходцами из Азии и описывал последовательность действий: выбор материала, небольшие разрезы, ожидаемое развитие болезни. Нас особенно интересует не техника как инструкция — повторять её опасно и бессмысленно.

но, — а форма доказательства. Автор опирался на наблюдаемые случаи и на репутацию длительной практики. Он представлял исход как обычно благоприятный. Но его сообщение не было современным клиническим испытанием: группы не формировали заранее, определения исходов не были единообразными, а сведения о неудачах зависели от того, кто и как их собирал.

Через несколько лет в том же научном круге обсуждали сообщение Джакомо Пиларини, врача и бывшего венецианского консула в Смирне. Два образованных врача не «создали» вариоляцию. Они сделали другое: описали знакомую местным исполнителям практику в форме, пригодной для движения по европейским учёным сетям. При переводе менялся и владелец авторитета. Знание женщин-практиков, семей и общин превращалось в латинский или английский текст с подписью мужчины-врача. Это не делает сообщение ложным, но заставляет спрашивать, чьи руки видны в процедуре и чьи имена остались в заголовке публикации.

Монтегю увидела эту разницу особенно ясно. В письме из Адрианополя от 1 апреля 1717 года она описала осенние собрания семей и женщин, которые выполняли операцию. Её изложение уверенно: оспа, столь тяжёлая в Англии, здесь будто бы обезврежена этим способом; тысячи проходят процедуру; она намерена применить её к сыну. Для истории повседневности это редкое свидетельство не только о медицинском действии, но и о его общественной обстановке. Реше-

ние принималось не в лаборатории. Оно входило в сезонный календарь, семейные связи, женский труд и домашнее ожидание болезни.

Уверенность письма нельзя превращать в точную статистику. Монтегю защищала увиденную практику перед далёкой собеседницей и строила убедительный рассказ. Её слова о том, что смертельных исходов нет, передают репутацию процедуры и личное убеждение, а не результат полного подсчёта. Это важное различие. Свидетель может быть честным и проникательным, но всё равно не знать знаменателя — общего числа процедур — и не видеть каждого неблагоприятного исхода.

Личная цена оспы для Монтегю была высокой. Она сама перенесла болезнь, потеряла брата и знала, что оспа меняет лицо, семью и положение человека, даже если не убивает. Поэтому её выбор нельзя объяснять легкомыслием или слепой верой в чужую моду. Она сравнивала две опасности из мира, где встреча с натуральной оспой была обычной угрозой. В марте 1718 года в Константинополе её маленькому сыну провели вариоляцию при участии хирурга Чарльза Мейтленда. Монтегю наблюдала за ребёнком и позже стала деятельной сторонницей процедуры в Англии.

Эта история часто пересказывается как сцена, в которой смелая аристократка приносит Востоку благодарность Запада. Такой сюжет слишком удобен. Он делает Монтегю единственным мостом и заслоняет Тимони, Пиларини, осман-

ских женщин-исполнителей, семейные сети и другие традиции вариоляции. Но и противоположное упрощение было бы несправедливо: положение Монтегю действительно давало ей возможность провести практику через двери, закрытые для менее влиятельных людей. Она могла обратиться к врачу, защитить решение своим именем и добиться внимания при дворе. В истории новшества социальный вес посредника иногда значит не меньше самого наблюдения.

После возвращения семьи в Англию испытание стало публичнее. Во время новой угрозы оспы в 1721 году Мейтленд провёл процедуру дочери Монтегю. За ребёнком наблюдали врачи и придворные. В том же году вариоляцию испытали на заключённых Ньюгейтской тюрьмы, которым обещали помилование. Затем последовали опыты над детьми из благотворительного учреждения. Так сторонники хотели показать, что результат воспроизводим и что перенёсший процедуру защищён при последующем контакте с оспой.

Для современного читателя здесь возникает резкая этическая граница. Согласие заключённого, которому предлагают свободу, нельзя считать свободным в обычном смысле: отказ имеет огромную цену. Бедный ребёнок в учреждении тоже не обладал той же возможностью выбирать, что ребёнок богатой семьи. В начале XVIII века не существовало современных правил исследования с участием людей, но отсутствие такого языка у современников не обязывает нас перестать видеть неравенство. Проверка новшества распреде-

ляла опасность по уже существующим ступеням общества.

Эта неравномерность сопровождала вариоляцию и за пределами Англии. В Бостоне в 1721 году проповедник Коттон Мэзер продвигал процедуру во время эпидемии после того, как услышал о ней от порабощённого африканца Онисима. Онисим рассказал, что перенёс подобное вмешательство в Африке. Врач Забдиэл Бойлстон начал проводить вариоляцию, несмотря на ожесточённое сопротивление. История снова показывает знакомый переход: знание порабощённого человека становится аргументом влиятельного белого посредника, а затем входит в печатный спор под именами священника и врача.

Спор был не столкновением простого невежества с готовой наукой. У противников имелись основания бояться. Вариолированный человек заболел настоящей оспой и мог заразить окружающих. Процедура могла закончиться тяжёлой болезнью или смертью. Если её проводили во время вспышки без надёжного разобщения, частное решение семьи создавало общественный риск. Были и религиозные возражения: допустимо ли намеренно вызывать болезнь, которую человек мог не получить естественным путём? Были возражения против иностранных практик и против авторитета тех, кто их распространял. Предубеждение смешивалось с разумным вопросом о безопасности.

Чтобы оценить выбор, требовались числа. Но число само по себе ничего не решает, пока не понятен способ его полу-

чения. В Бостоне Мэзер и Бойлстон сравнивали исходы среди вариолированных и заболевших обычным путём. В Англии врач Томас Неттлтон сообщал о своём опыте Джеймсу Джурину, секретарю Королевского общества. Джурин стал собирать сведения от врачей и сопоставлять смертность после процедуры со смертностью при естественной оспе. В публикациях начала 1720-х годов риск после вариоляции выглядел значительно ниже риска смерти среди заболевших естественным путём.

Это был существенный поворот в разговоре. Стороннику уже было мало сказать: «Я видел много удачных случаев». Нужно было сообщить, сколько человек подверглись процедуре, сколько умерли, как долго за ними наблюдали и с какой группой их сравнивают. Такой счёт не был современным рандомизированным исследованием, но он дисциплинировал убеждение. Редкий трагический исход нельзя было отнести как случайность, а впечатляющее выздоровление — выдать за полное доказательство.

Однако сравнение оставалось трудным. Для вариоляции могли выбирать людей, казавшихся здоровыми и подходящими. Естественная оспа поражала всех, включая младенцев, истощённых и уже больных. В одном подсчёте причиной смерти считали саму оспу, в другом — любую смерть вскоре после процедуры. Врач мог тщательнее узнавать судьбу своих пациентов, чем судьбу заболевших во всём городе. Во время эпидемии лёгкие случаи натуральной оспы мог-

ли вообще не попасть в записи, из-за чего смертность среди учтённых больных казалась выше. Эти различия не отменяют преимущества, которое видели наблюдатели, но показывают, почему честный вывод должен быть уже громкого обещания.

Для отдельной семьи задача выглядела иначе, чем для составителя таблицы. Представим родителей, у которых трое детей ещё не болели оспой. В городе пока спокойно, но каждые несколько лет болезнь возвращается. Вариоляция позволяет выбрать сезон, заранее позвать исполнителя, отложить поездку и приготовить отдельную комнату. Вместо неизвестного дня заражения появляется назначенный день. Вместо неопределённой угрозы — короткий период особенно тревожного ожидания. Даже если вероятность тяжёлого исхода ниже, эмоционально решение может казаться страшнее: беду вызывают собственными руками.

Так временное медицинское действие меняло распорядок дома. Нужно было определить, кто ухаживает за заболевшим, кто не входит в комнату, где взять пищу и чистое бельё, когда считать человека поправившимся. Семья с большим домом и слугами могла отделить вариолированного легче, чем семья, живущая и работающая в одной комнате. Богатый человек мог выбрать опытного врача и уехать на время из города. Бедный рисковал потерять заработок и подвергнуть соседей контакту. Одинаковая процедура ложилась на разные дома неодинаковой тяжестью.

Вариоляция меняла и время риска. Естественная эпидемия не спрашивала, готова ли семья. Процедуру старались проводить в подходящий сезон и вне непосредственной вспышки, чтобы человек вошёл в болезнь в заранее устроенных условиях. Но управляемость была неполной. Материал не стандартизировали так, как стандартизируют современные препараты; исполнитель мог выбирать его по местным признакам и собственному опыту. Возраст, предшествующее здоровье, уход и сопутствующие вмешательства различались. Более поздние европейские режимы подготовки порой обрастали диетами, кровопусканиями и лекарствами, польза которых не следовала из самой идеи вариоляции.

Здесь легко совершить вторую историческую ошибку после легенды об одном изобретателе: представить путь практики как улучшение при переходе от «народных» рук к профессиональным врачам. Профессионализация могла дать более аккуратные записи и наблюдение, но могла добавить дорогостоящие и вредные процедуры, усилить барьер для бедных и присвоить авторитет без признания источника знания. Женщина, годами выполнявшая вариоляцию в своей общине, могла лучше владеть конкретным приёмом, чем врач, впервые прочитавший о нём в журнале. Диплом и практический опыт — не одно и то же.

Из этого не следует романтизировать местное знание. Давность обычая не гарантирует безопасности. Свидетельство «у нас так делают много лет» сообщает о принятии

практики, но не даёт полного подсчёта исходов. Семьи могли помнить успехи и молчать о неудачах; известный исполнитель мог отбирать более крепких детей; смерть после процедуры могли объяснять другой причиной. К местной и учёной традиции следует применять один вопрос: как наблюдение превратилось в утверждение о риске?

Ответ в XVIII веке постепенно переходил от репутации к реестру. Это видно по работе Джурина. Он просил корреспондентов присылать не только истории, но и числа. Его интересовало, сколько людей прошло вариоляцию и сколько умерло, а также какова смертность при естественной оспе. Историки статистики справедливо видят здесь важный опыт количественной оценки лечения. Но таблица не была нейтральной машиной истины. Она зависела от писем, добросовестности врачей, правил включения случаев и определения причины смерти.

Читатель должен особенно осторожно обращаться с часто повторяемыми процентами. Обзор может сообщать, что при ранней вариоляции умирала примерно одна небольшая доля подвергшихся процедуре, тогда как при естественной оспе среди заболевших смертность была во много раз выше. Такие оценки передают направление различия, но не являются вечной ставкой для любого места и времени. Риск менялся вместе с техникой, отбором пациентов, штаммом вируса, уходом и качеством записей. Нельзя взять цифру из Англии 1720-х годов и без оговорки присвоить её Константинополю,

Китаю, Западной Африке или Бостону.

Кроме личного риска существовал риск распространения. Вариолированный человек становился источником инфекции. Польза для него могла соседствовать с угрозой для младенца, соседа или служанки, которые о процедуре не выбирали. Поэтому история вариоляции — не ранняя версия простого лозунга «пусть каждый решает сам». Решение одной семьи меняло опасность для других. Отсюда следовали попытки устраивать специальные дома, проводить процедуры группами или вдали от густого жилья и ограничивать контакты до выздоровления.

Сама возможность назначить болезнь изменила моральный язык ответственности. Если человек заболел естественно, бедствие можно было назвать несчастьем. Если после вмешательства он умирал, исполнитель и родители оказывались перед вопросом: не они ли вызвали смерть? Сторонники отвечали сравнением вероятностей: отказ тоже не был бездействием, если оспа регулярно возвращалась. Противники возражали, что вероятная будущая опасность не даёт права причинять настоящую болезнь сейчас. Обе стороны говорили о риске, но помещали нравственную тяжесть в разные моменты.

Этот спор показывает, почему знание вероятности трудно превращается в бытовое решение. Представим две формулировки. Первая: «Процедура иногда убивает». Вторая: «Без процедуры опасность смерти при встрече с оспой на-

много выше». Обе могут быть верны. Первая заставляет видеть конкретную смерть после намеренного действия; вторая — множество смертей, распределённых среди будущих эпидемий. Человек обычно острее чувствует вред, который последовал за выбранным действием, чем вред от события, которое случилось после отказа. Исторические участники не были неспособны понять числа; они по-разному понимали ответственность.

При этом выбор не всегда был индивидуальным. Родители решали за детей, хозяева — за слуг, начальники — за солдат, попечители — за воспитанников. В армии вариоляция могла уменьшить потери от вспышек, но подчинённый не обладал полной свободой отказа. В благотворительном учреждении выгода для общественного знания могла быть достигнута ценой риска для зависимых детей. Когда источник сообщает, что «люди согласились», следует проверить, кто имел право сказать нет и что происходило после отказа.

Повседневное наследие вариоляции состоит не только в подготовке пути вакцинации. Она приучала семьи и учреждения мыслить профилактику как запланированное действие до болезни. Она связывала медицинское решение с календарём, комнатой, расходами, уходом и записью исхода. Она создавала новые роли: исполнителя, наблюдателя, сборщика чисел, посредника между местным знанием и печатью. И она сделала риск предметом публичного сравнения, хотя язык и методы такого сравнения ещё складывались.

Но нельзя заканчивать главу торжеством. Вариоляция была опасной процедурой с живым возбудителем. Она могла убить подвергшегося ей человека и вызвать новые заражения. Её позднейшее вытеснение вакцинацией было не простой сменой моды, а поиском менее опасного способа получить защиту. Историческое понимание пользы вариоляции не является медицинским советом и не оправдывает попыток воспроизвести её. Натуральная оспа ликвидирована; любые манипуляции с подобным материалом вне специальных законных учреждений были бы чрезвычайно опасны.

Практика этой главы — отделить наблюдение от обещания безопасности. Возьмите одно раннее сообщение о вариоляции и выпишите шесть вещей обычными предложениями.

Кто видел процедуру лично, а кто пересказал чужие слова.

Сколько людей, по утверждению автора, прошли её, и назван ли точный источник этого числа.

Что считалось успехом: лёгкая болезнь, выживание, отсутствие повторной оспы или всё сразу.

Как долго наблюдали за человеком после вмешательства.

Какие неудачи могли не попасть в поле зрения автора.

Кто не мог свободно отказаться от участия.

После этого перепишите вывод в двух вариантах. Сначала так, как его формулирует убеждённый свидетель: например, «процедура безопасна и предотвращает оспу». Затем — в пределах реально показанного: «автор наблюдал или со-

брал сообщения о таких-то случаях, большинство описанных исходов были благоприятными; полный риск и риск передачи окружающим по этому источнику определить нельзя». Второй вывод звучит скромнее, но именно он сохраняет ценность наблюдения.

Наконец, проверьте знаменатель. Сообщение о двух смертях ничего не говорит без числа всех процедур. Сообщение о ста выздоровевших неполно, если неизвестно, сколько человек исчезли из наблюдения. Сравнение с естественной оспой неполно, если одна группа состоит из отобранных здоровых детей, а другая — из всех заболевших города. Числа станут доказательством не тогда, когда выглядят точными, а когда понятен путь каждого случая в итоговый счёт.

Вариоляция вошла в европейскую печать не как безрисковое спасение, а как трудный обмен: меньшая, управляемая опасность вместо большей и случайной. Этот обмен изменил дом, календарь и язык решения. Следующая глава покажет, как Эдвард Дженнер в 1798 году предложил иной материал и иной ряд случаев — и почему даже знаменитая публикация не позволяет заменить разбор доказательств легендой об одном великом опыте.

Глава 8. Опыт Дженнера

В привычном пересказе история вакцинации занимает несколько строк. Английский врач Эдвард Дженнер заметил, что доярки после коровьей оспы не болеют натуральной, 14 мая 1796 года привил восьмилетнего Джеймса Фиппса материалом от Сары Нелмс, затем проверил защиту и в 1798 году сообщил об открытии. Все основные имена и даты здесь узнаваемы. Но короткая версия превращает сложную цепь случаев в один удачный опыт, стирает прежние наблюдения и скрывает то, что сам Дженнер пытался доказать.

Откроем его книгу 1798 года, а не позднюю картинку. Полное название говорит об «исследовании причин и действий *variolae vaccinae*», болезни западных графств Англии, особенно Глостершира, известной как коровья оспа. Это не отчёт об одном мальчике. В книге двадцать три нумерованных случая, собранных из воспоминаний, наблюдений, естественных заражений на фермах и намеренных переносов материала. Дженнер строит рассуждение ступенями: сначала показывает людей, которые после коровьей оспы, по его сведениям, не заражались натуральной; затем обсуждает похожие болезни; наконец прослеживает передачу материала от человека к человеку.

Такое устройство важно. Если читать только случай Фиппса, можно решить, будто один благоприятный исход до-

казал длительную защиту и пригодность способа для распространения. Сам текст шире и одновременно слабее легенды. Шире — потому что Дженнер соединяет множество наблюдений. Слабее — потому что случаи неоднородны, часть сведений относится к далёкому прошлому и зависит от памяти, а проверка натуральной оспой по современным меркам была и опасной, и недостаточной для окончательного вывода.

Первую опору давало местное знание. Среди работников молочных ферм ходило убеждение: перенёсший коровью оспу не подхватит натуральную. Дженнер не создал это наблюдение из ничего. Он услышал его в среде, где руки доярков и работников регулярно соприкасались с поражениями на коровьем вымени. Повседневный труд здесь предшествовал медицинской теории. Ферма была местом, где повторяющаяся связь становилась заметной задолго до печатной публикации.

Но народное правило было неточным. Не всякое поражение рук после работы с коровой означало одну и ту же инфекцию. Дженнер уделял много места различению «истинной» и ложной коровьей оспы и рассуждал о происхождении болезни от поражений у лошадей. Некоторые его объяснения причин оказались ошибочными. Это не необычное исключение в истории науки. Человек может верно заметить защитный эффект и неверно объяснять происхождение явления. Поэтому ценность случая нужно отделять от ценности теории, которой автор его окружил.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.